



Даниил Мордовцев

Русские
исторические
женщины

Даниил Лукич Мордовцев

Русские исторические женщины

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11034769

"Русские исторические женщины": ООО "Остеон-Пресс"; Ногинск; 2015
ISBN 978-5-00064-737-0

Аннотация

Предлагаем читателю ознакомиться с главным трудом русского писателя Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905) — его грандиозной монографией «Исторические русские женщины». Д.Л.Мордовцев — мастер русской исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались занимательность и достоверность. В этой книге мы впервые за последние 100 лет представляем в полном виде его семитомное сочинение «Русские исторические женщины». Перед вами предстанет галерея портретов замечательных русских женщин от времен «допетровской Руси» до конца XVIII века.

Глубокое знание истории и талант писателя воскрешают интереснейших персонажей отечественной истории: княгиню Ольгу, Елену Глинскую, жен Ивана Грозного, Ирину и Ксению Годуновых, Марину Мнишек, Ксению Романову, Анну Монс и ее сестру Матрену Балк, невест Петра II Марью Меншикову и Екатерину Долгорукую и тех, кого можно назвать прообразами жен декабристов, Наталью Долгорукую и Екатерину Головкину, и еще многих других замечательных женщин, включая и царственных особ — Елизавету Петровну и ее сестру, герцогиню Голштинскую, Анну Иоанновну и Анну Леопольдовну.

Содержание

Том первый	7
Предисловие	7
Часть первая	8
I. Княгиня Ольга	8
II. Малуша-ключница. – Рогнеда. – Анна-болгарыня. – Олова-варяжка. – Мальфреда-чехиня. – Адиль. – Преслава. – Ингигерда	16
III. Княжна Сбыслава. – Княжна Измарагд. – Княгиня Верхуслава. – Гертруда, княгиня Галицкая. – Ольга, княгиня Волынская и ее приемыш Изяслав. – Княгиня Кончака-татарка. – Елена Омулич, служанка Анны, княгини Литовской. – Александра, княгиня Нижегородская. – Ульяна, княгиня Вяземская	23
IV. Софья Витовтовна	29
V. Марфа Борецкая, посадница Новгородская	32
VI. Софья Палеолог	41
VII. Елена Ивановна, великая княгиня Литовская и королева Польская	51
VIII. Соломония Сабурова	62
IX. Елена Глинская	64
X. Анастасия Романовна Захарьина-Кошкина	71
XI. Еще жены Грозного – законные и морганатические: Марья Темрюковна-черкешенка, Марфа Васильевна Собакина, Анна Колтовская, Марья Долгорукая, Анна Васильчинова, Василиса Мелентьева	75
XII. Мария Федоровна Нагих, последняя супруга Грозного	80
Часть вторая	87
I. Ирина Годунова	87
II. Жены Курбского: княжна Марья Юрьевна Голшанская и Александра Симашко. – Титулярная королева ливонская Марья Владимировна. – Дочери Малюты Скуратова	92
III. Ксения Годунова	101
IV. Марина Мнишек	107
V. Ксения Ивановна Романова. – Мария Хлопова	118
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Даниил Лукич Мордовцев

Русские исторические женщины

*Анне Никаноровне Мордовцевой, Вере Даниловне Мордовцевой,
Наталье Иосифовне Первольф, с любовью посвящает
муж, отец и дедушка – автор*

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Д. Л. Мордовцева.

**РУССКІЯ
ИСТОРИЧЕСКІЯ ЖЕНЩИНЫ**

Популярные рассказы изъ русской исторіи.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЖЕНЩИНЫ ДО-ПЕТРОВСКОЙ РУСИ.

— ♦ —
Томъ XXXIV.

— ❧ —
**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. Э. Мертца
1902.**

**Электронное издание, соединившее 7 томов
полного собрания сочинений Д.Л.Мордовцева**

тома с 34-го по 39-й

Том первый

Предисловие

Настоящие очерки не имеют претензии ни на самостоятельность исторического исследования вообще о положении женщины в истории Русской земли, ни на специальное определение исторической роли каждой из женских личностей, на долю которых выпало историческое бессмертие, вследствие ли их личной исторической деятельности, или вследствие обстоятельству обуславливавших то или другое проявление их в истории Русской земли.

Предлагаемая книга представляет не что иное, как систематическое, в самом сжатом виде, изложение, приспособленное притом для общедоступного чтения, более или менее общеизвестных фактов о русских исторических женщинах, насколько они выявили свою личность, прямо или косвенно, в истории Русской земли, и составленное преимущественно на основании известных уже исторических трудов почтенных представителей русской исторической науки: С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, К. Н. Бестужева-Рюмина и других.

Если некоторые исторические женские личности являются в наших очерках полнее, с более или менее явственно-очерченной, цельной физиономией, а другие только как исторические тени, как исторические имена, заслужившие историческое бессмертие лишь по отношению к другим историческим именам, — то это потому, что об одних личностях есть что сказать, а о других — более того, что сказано, сказать нечего.

Таких же исторических женских личностей, как например, Иулиания Лазаревская или Евфросинья Полоцкая и им подобные, мы не казались потому, что первые из них суть не что иное, как исторические или скорее литературные женские типы древней русской жизни, другие же входят в область истории русской церкви и русского духовного просвещения.

Говоря вообще, очерки наши представляют сборник об избранном нами предмете всего того, что сказано об этом предмете в десятках томах специальных и неспециальных исторических исследований, и предназначены собственно и исключительно для тех читателей, которые или поставлены были бы в невозможность, по недостатку времени и другим причинам, или не решились бы, да и не осилили бы прочесть все то, что нами здесь сжато изложено, когда оно рассеяно в отдельных многотомных трудах русских историков или в разнообразных повременных изданиях.

Настоящие очерки мы заканчиваем началом XVIII-го века, то есть останавливаемся на рубеже, отделяющем старую допетровскую Русь от новой.

Часть первая Женщины допетровской руси

І. Княгиня Ольга

Первой исторической женщиной в русской истории является Ольга, жена киевского князя Игоря.

Деятельность этой женщины, сколько известно из летописных сказаний, начинается тотчас после смерти мужа, которого зверски умертвили соседи киевлян – древляне за то, что Игорь, не довольствуясь данью, платимую ему древлянами, грабил этот народ и опустошал древлянскую землю словно волк, повадившийся ходить в овечье стадо, по выражению самых древлян.

Ольга была родом из Пскова или вообще из северных областей тогдашней русской земли, из которых и впоследствии Киевские князья нередко брали себе жен.

Ольга осталась вдовой с малолетним сыном Святославом, который был еще «детеск» и едва ли достиг четырехлетнего возраста, и потому сама должна была править русскою землею до возмужалости малютки. «Кормилищем» или воспитателем маленького Святослава был Асмуд, а воеводой Свенельд, еще при жизни Игоря прославившийся тем, что отроки его были богаче «оружием и платьем», чем дружинники скупого Игоря, жаловавшиеся, что они «босы» и «наги».

В то время кровавая месть была еще в полной силе, как обычай, освященный временем и верованиями, как дело родовой чести и, наконец, как закон, строго исполнявшийся во всей стране. Даже много лет спустя после Ольги, внук её, первый русский законодатель, Ярослав Владимирович, устанавливая писаный закон для русской земли под названием «Русской Правды», первою статьею этого закона постановил родовую месть: «если убьет муж мужа, то мстит брат за брата, либо сын за отца, либо отец за сына, либо племянник за дядю» и т. д. Как всякая женщина, всегда и везде наиболее строгая, чем мужчина, блюстительница обычаев старины, и как жена, оставшаяся молодой вдовой с малюткой-сыном, Ольга первой своей обязанностью сочла исполнение прямой, лежавшей на ней обязанности – месть убийцам своего мужа. И она исполнила это дело с редкой женской находчивостью и даже изысканностью. Этого требовало не одно её женское чувство, не одно приличие, наконец, не жестокость времени или её личная мстительность, но закон страны, точное исполнение которого должно было возвысить ее и в собственном мнении, и во мнении народа, и, наконец, во мнении самих врагов.

Случай к мести не замедлил представиться. Древляне, по убийении Игоря, так рассуждали: «Вот мы убили Русского князя. Теперь возьмем его жену Ольгу за нашего князя Мала, а с сыном его Святославом что хотим, то и сделаем».

Признав такое дело возможным и полезным для себя, древлянская земля отправила послов своих к Ольге, выбрав для этого посольства двадцать лучших мужей. Так как древлянская земля, лежавшая на северо-запад от земли киевской, на которой сидели киевские поляне, перерезывалась рекою Ушью, впадающей в Днепр на несколько десятков верст выше Киева, и так как в то время, при неимении и трудности сухопутных проездов, особенно при существовании тогда, почти повсеместно, дремучих лесов, преимущественно по правой же стороне Днепра, всего удобнее было сообщение по рекам на судах, – то древлянские послы и отправлены были в Киев водою, в ладье.

Когда Ольга узнала о прибытии послов, то позвала их к себе и спросила: зачем они пришли?

Послы отвечали:

– Нас послала древлянская земля сказать тебе: мужа твоего мы убили, потому что он грабил нас, как волк, наши же князя добры суть – распасли деревскую землю: отчего бы тебе не пойти замуж за нашего князя Мала?

– Люба мне речь ваша, – отвечала притворно Ольга: – ведь уж мужа мне своего не воскресить! Но мне хочется почтить вас завтра перед моими людьми: так ступайте вы теперь назад в свою ладью и разлягтесь там с важностью. А как завтра утром я пришлю за вами, то вы скажете посланным: «не едем на конях, не идем пешком, а несите нас в ладье». Они и понесут вас.

Древляне, ничего не подозревая, ушли к своей ладье, а Ольга тотчас велела копать глубокую и просторную яму на загородном теремном дворе. На утро послала за древлянами.

– Ольга зовет вас на великую честь, – говорили посланцы Ольги по её приказанию.

– Не едем ни на конях, ни на возах, и не идем пешком – несите нас в ладье! – отвечали древлянские гости.

– Мы люди невольные, – говорили киевляне по наущению Ольги: – наш князь убит, а княгиня наша хочет замуж за вашего князя.

И киевляне понесли древлян в ладье. Древляне же, говорить летописец, сидя в ладье, ломались и важничали – «сediaху в перегибех, в великих сустугах, гордящеся».

Когда древляне вместе с ладьею принесены были на тюремный двор, то, по приказу Ольги, брошены были в вырытую для них яму, как сидели, с ладьею. Ольга подошла к яме, нагнулась и спросила древлян:

– Довольны ли вы честью?

– Ох, лютее наша смерть смерти Игоревой! – отвечали послы: – ты умеешь хорошо мстить.

Княгиня приказала живыми засыпать их землю – и их засыпали.

Но она не удовольствовалась этой местью. Ей нужно было наказать и унижить всю древлянскую землю, поработив ее окончательно и искупив потоками крови кровь своего мужа, которого древляне, как свидетельствует историк Лев-Диакон, разодрали надвое, привязав между двумя деревьями. Поэтому, когда весть о гибели древлянских послов не могла еще дойти до их земли, Ольга послала сказать древлянам: «Если в самом деле вы просите меня к себе, то присылайте нарочитых мужей, чтоб прийти мне к вам с великою честью, а то киевляне, пожалуй, и не пустят меня».

Древляне, не предвидя обмана, действительно выбрали лучших мужей, державших их землю, и отправили в Киев это новое посольство. Ольга жестоко надругалась и над этими послами. По приезде их, она велела истопить баню, до которой были большие охотники северные обитатели русской земли, в том числе, конечно, и древляне, как жители лесов, тогда как более южные обитатели смеялись над этим пристрастием северян к баням. Послы приглашены были в баню, по русскому обычаю, сохранившемуся еще и теперь в жизни, как он сохранился и в сказках, где гостя прежде всего ведут «в баньку париться». Когда древляне вошли в мыльню и стали мыться, то киевляне заперли за ними дверь и зажгли самую избу, в которой послы и сгорели.

Но и эта месть казалась для Ольги неполною. Женщина эта была, по-видимому, лучшей представительницей своего времени и своего народа, и потому доводила исполнение священного обычая своей страны до крайней возможности, а в отношении к кровавой мести – до изысканной жестокости, чем она и прославилась в тогдашнем народе, как непоколебимая исполнительница и хранительница законов своей страны.

Она вновь послала в древлянскую землю и велела сказать: «Я уже на дороге к вам. Наварите побольше медов в городе, где убили моего мужа: я поплачу над ним и отправлю по нем тризну».

Опять – строгое исполнение обычаев страны: плаканье и голосование над телом или могилою дорогого покойника, что сохраняется и теперь в русском народа, и отправление тризны на могиле, поминки, еда и питье в честь умершего – все это было священным долгом, особенно в то языческое время.

Древляне, и теперь еще не догадываясь о лукавстве Ольги, исполнили все, чего она требовала: навезли на место смерти Игоря много медов и наварили медового питья. Ольга, чтобы еще более усыпить возможную бдительность и недоверие древлян и успокоить их, поехала в их землю с малой дружиной. Поплавав над могилой Игоря, она велела своей дружине насыпать высокий курган над покойником, а потом, когда это было исполнено, велела отправлять тризну, пригласив и древлян. Началось празднование тризны – питье медов, которые, надо полагать, были не простые меды, но хмельные, крепкие. Пили собственно древляне, а Ольгины отроки служили им, как бы для большей чести.

– Где же наша дружина, что мы посылали за тобой? – спрашивали древляне Ольгу.

– Она идет вслед за мной, вместе с дружиной моего мужа, – отвечала она.

Когда древляне охмелели, то княгиня велела своим отрокам, чтоб они пили за здоровье своих новых союзников-древлян: это была насмешка над опьяневшими древлянами. Приказав пить за здоровье последних, Ольга сама отошла в сторону от места тризны и приказала своей дружине рубить пьяных древлян. Началась сеча, и в сече перебито их пять тысяч.

Отпраздновав эту кровавую тризну по муже, Ольга воротилась в Киев, чтоб доводить свою месть до конца, до крайнего предела возможности так, чтобы враги никогда не забывали этой мести. Она собрала большое войско, и на следующей год открыла поход на древлянскую землю под своим личным предводительством. С нею был в походе и малютка Святослав. Были также с ними опытный и закаленный в боях воевода Свенельд, много испытанный походов и битв еще при Игоре, с ним вместе и от его имени умирив и покорив соседние народы, а равно пестун маленького князя – Асмуд. Узнав о походе Ольги, древляне выступили против неё соединенными силами всей древлянской земли.

Когда неприятельские войска сошлись, маленький Святослав, бывший на коне в рядах ратных людей, первый открыл битву: своей маленькой ручонкой он сунул в древлянина копьём; но рука ребенка была бессильна – копьё пролетело между ушей коня и ударило ему в ноги...

– Князь уже начал, – сказали Свенельд и Асмуд, обращаясь к войску: – потянем, дружина, за князем!

Началась сеча. Древляне не выдержали натиска киевлян и побежали с поля битвы. Преследуемые войском Ольги, они разбежались по своей земле и затворились по городам: брать каждый город было нелегко. Тогда Ольга, взяв сына и совокупив войско, пошла к Коростеню, по-видимому главному городу древлянской земли и к конечной цели своего продолжительного и упорного мщения: там был убит её муж, там она совершила по нем кровавую тризну, там должна была исполниться и мера её мщения. Но Коростен, обложенный войском киевлян, защищался упорно. Коростенцы до последней возможности отстаивали свой город, боясь думать о сдаче, потому что не надеялись уже ни на что и не могли ждать пощады от Ольги, мужа которой они разорвали на части и которая, как они убедились горьким опытом, так жестоко и изысканно умела мстить. Осада Коростена продолжалась целое лето, но город не сдавался. Тогда хитрая Ольга придумала новый план взятия города и новый вид мести.

Она послала в Коростен и велела сказать:

– Из чего вы сидите? Все ваши города уже сдались мне, обязались платить дань, и теперь спокойно возделывают свои нивы; вы одни хотите лучше умереть от голода, чем согласиться платить мне дань.

– Мы рады бы платить дань, – отвечали коростенцы: – но ты ведь хочешь мстить за мужа.

Ольга велела на это сказать: «Я уж отомстила за мужа не один раз – в Киеве и здесь, на тризне; а теперь уж не хочу больше мстить, хочу брать дань понемногу, и, помирившись с вами, уйду прочь».

– Чего ж ты хочешь от нас? – спрашивали доверчивые древляне: – мы рады давать тебе дань и медом, и мехами.

Мед и меха были естественный богатства лесистой древлянской земли, а потому это была подходящая с них дань.

Но Ольга отвечала: «Теперь у вас нет ни меду, ни мехов, а потому я требую от вас немного: дайте мне от двора по три голубя, да по три воробья. Я не хочу налагать на вас тяжелой дани, как делал муж мой, а прошу с вас мало оттого, что вы изнемогли в осаде».

Простодушные древляне и тут не догадались о хитрости изобретательной Ольги, а обрадовались её снисхождению, и, собрав с каждого двора по три голубя и по три воробья, послали их к осаждающим и даже велели поклониться Ольге. Ольга сказала посланцам: «Вы уж покорились мне и моему ребенку, так и ступайте в свой город; а я завтра отступлю от него и пойду к себе домой».

Древляне ушли в город, который был еще более обрадован принесенным послами известием о намерении Ольги снять осаду и возвратиться в Киев. Но Ольга раздала голубей и воробьев своим ратным людям и велела, привязав к каждой птице по завернутому в тряпочку кусочку серы с огнем, при наступлении сумерек пустить их на волю. Голуби и воробьи; вырвавшись из рук воинов, полетели, конечно, к своим гнездам, в город, и зажгли город со всех концов, как наивно рассказывает об этом летописец: «Голуби же и воробьев полетеша в гнезда своя, ови в голубники, воробьева же под стрехи (крыши, большею частью соломенные), и тако возгорахуся голубници, ово лети (дома), ово веже (чердаки), ово ли «одрины» (спальные пристройки) и т. д.

Не было ни одного двора во всем Коростене, где бы не загорелось, а гасить было некому да и невозможно, потому что загорелся разом весь деревянный и соломенный город. Жители в испуге бежали из города, чтоб не сгореть самим в сплошном пламени, а воины Ольги ловили беглецов. Город был выжжен и взят как беззащитный.

Коростенских старейшин Ольга взяла себе, а остальных частью раздала дружине в рабы, по тогдашнему обычаю, как военные трофеи и добычу, а часть пощадила для того, чтоб они платили дань победителям. Тяжелую дань Ольга наложила на убийц своего мужа и распределила ее на три части: «две части дани идет Киеву, а третья к Ользе Вышеграду». Вышгород, как пожизненное владение, принадлежал лично Ольге и был главным складочным местом её сокровищ – мехов, меду и всего, что тогда почти исключительно составляло и царскую и частную казну, при неимении того, что у нас теперь называется деньгами.

Отомстив древлянам за смерть своего мужа, Ольга не пошла, однако, к Киеву, как обещала послам древлянским, а отправилась устанавливать порядок в русской земле, во всех своих, уже тогда обширных, владениях. Русские князья того времени в ноябре месяце выходили обыкновенно со своею дружиною «на полюдь». Полюдь состояло в том, что князья в продолжение всей зимы разъезжали по областям подвластных им племен, и во время этих разъездов собирали со своих подданных дань, называемую «оброком», и чинили суд и расправу. Области, по которым проезжал князь, продовольствовались в это время его самого и всю его дружину. В некоторых местах, наиболее удобных или центральных, князь останавливался, и окружное население должно было являться к нему для внесения дани и для прочих надобностей, если кто имел нужду в князе, в его суде, расправе, в совете или помощи. В местах княжеских стоянок, называвшихся «гощениями» или «погостами», впоследствии устраивались небольшие дворы, где могли жить княжеские «тиуны», представители власти правительственной, соединявшее в своем лице и судью, и приказчика, и полицейское око и, наконец, сборщика княжеских пошлин.

Таким образом, и Ольга, отступив от Коростена, вместе со своим сыном и дружиною отправилась по древлянской земле, устанавливая везде «уставы» – учреждения, определяются взаимные отношения населения между собою и к княжеской власти, и «уроки» – обязанности, возлагаемый на население по отношению к князю и к своей земле. Спустя много времени, даже во времена первого летописца, указывали еще на Ольгины «становища» и «ловища» – на места, где оно останавливалась для «гощения» и распоряжались, а также, где охотилась со своею дружиною.

Установив порядки в земле древлянской, которая должна была нуждаться в этих порядках, так как старейшины древлянской земли были или перебиты Ольгою или отведены в плен, «Вольга, – как называет ее летописец, – иде Новгороду и устави по Мете погосты и дани, и по Лузе оброки и дани, ловища ея суть по всей земле, знаменья (следы пребывания) и места, и погосты, и сани ее стоят в Плескове (Псков) и до сего дне, и по Днепру перевесища, и по Десне, и есть село ее Ольжичи и доселе».

Лет через десять после этого (957 г.), мы уже видим Ольгу в Константинополе, где она принимала крещение, так как до того времени и она и вся русская земля состояли в язычестве. Что привлекло эту смелую язычницу и, как, конечно, смотрели на нее византийцы, почти дикарку в этот далекий и блестящий город, в центре тогдашней цивилизованности и роскоши – неизвестно, если не допустить, что она именно поехала затем, чтобы принять христианство. Последователей его она могла уже видеть на Руси, так как русские воины и русские торговые люди, отправляясь в Константинополь или на службу к византийским императорам, или для торговых дел, иногда возвращались оттуда уже не язычниками, а христианами и могли хвалить новую религию. Быть может, ее тянуло туда любопытство – лично взглянуть на те чудеса столицы цивилизованная мира, на то великолепие, на ту блестящую и своеобразную жизнь греков, хитрейших из людей, на их храмы и дворцы, о чем она могла слышать еще от своего мужа и от его послов, лично бывших в Константинополе для заключения известного договора с греками. Для варваров, каковыми были тогда русские, столица греков могла представлять что-то сказочное, действительно поражающее и заманчивое, и всякий, кто бывал в том сказочном царстве, мог гордиться и возвышаться перед другими русскими тем, что он видел такие чудеса, о которых варварам и не грезилось.

Как бы то ни было, Ольга отправилась в Царьград с большою свитою. С нею был её племянник, послы, гости, знатные женщины, переводчики, священник и служанки. Сношения Руси с Византией были уже в то время делом весьма обыкновенным; дорога в Царьград была известна русским с самых первых походов варягов; греки живали и торговали в русской земле и русские люди бывали и живали в Византии; были уже и переводчики, знавшие оба языка – все это облегчило и подкрепило решимость смелой русской женщины предпринять путешествие в столицу образованного мира, о которой позднейшие русские женщины, почти не выходившие из терема, могли знать только по наслышке или знали меньше, чем варвары времен Игоря и Ольги.

В Византии царствовали в это время императоры Константин Багрянородный и Роман. Первый из них и оставил нам описание как приёма Ольги в Царьграде, так и церемоний, которыми сопровождался при византийском дворе этот прием. В самой церемонии греки хотели было высказать то различие, какое они полагали между особами императорского дома, преемниками римских цезарей и Августов, и между представительницею северных варваров, русскою княгинею. Но русская женщина, правительница того народа, который нередко заставлял уже дрожать гордых византийцев в своих роскошных дворцах, когда русский народ этот облагал своими бесчисленными ладьями столицу цивилизованного мира и опустошал византийское царство, – с своей стороны показала царственный такт, не дав грекам возможности унижить её самолюбие. Так, когда в церемониях приёма ей отвели место по-видимому наравне с женами знатных византийских придворных, Ольга сама выделилась

из них, и когда, при входе императрицы, знатные гречанки приветствовали ее тем, что, по восточному обычаю, падали ниц, Ольга выразила это приветствие только легким поклоном.

Предание говорит, что византийский император предложил Ольге свою руку, вероятно, рассчитывая этим браком привлечь на свою сторону могущественных северных варваров и сделаться обладателем русской земли, столь страшной тогда для византийской империи и заманчивой своими естественными богатствами, но Ольга перехитрила и цивилизованного императора, как она уже не раз перехитрила своих полудиких соседей, древлян. Она отвечала императору, что не отказывается быть его женою, но только просила, чтобы ее прежде окрестили и чтобы император был её восприемником от купели. Император исполнил её требование; но когда после совершения крещения он возобновил свое предложение о браке с Ольгою, русская княгиня, уже достаточно наставленная в догматах христианской религии, напомнила ему, что, по христианскому закону, крестный отец не может жениться на своей крестнице.

– Ольга! ты перехитрила («переключала») меня! – воскликнул император, которого не могла не поразить эта находчивость полудикарки, какою он естественно мог считать Ольгу в своей цивилизованной гордости.

Когда Ольга возвращалась потом из Цареграда, император, отпуская ее, одарил свою крестницу «богатыми дарами», которые, впрочем, с точки зрения нашего времени, могли бы показаться очень скудными, что называется «мещанскими»: так в один раз он подарил русской княгине с небольшим сорок червонцев, в другой – около двадцати.

Но и тут предание окружает Ольгу, этот идеал древнерусской мудрой женщины, новыми доказательствами её мудрости и хитрости. Ольга вновь перехитряет императора-грека, грека, о хитрости которых так прочно установилась репутация, что и в позднейшее время русский летописец выразился о них: «суть же лъстивы греки и до сего дне». По понятиям русских, хитрее грека не было народа в мире. Прощаясь с императором, Ольга сказала ему, что когда воротится в Русь, то пришлет ему богатые дары: рабов, воску, мехов и рабов на помощь. Но то притеснение и те унижения, которым обыкновенно подвергались русские, приезжавшие в Константинополь и не смевшие, бывало, в силу последнего договора с Игорем, войти на берег в византийской гавани без соблюдения разных стеснительных формальностей, не могли не раздражать русских, и потому Ольга и в этом случае мстит грекам, как она мстит и древлянам, за свое собственное унижение при церемонии приёма в византийском дворце и за унижение соотечественников, хотя мщение это и заключалось в том, что она посмеялась над греческим императором, охотником до русских даров и до вспомогательных дружин из храбрых руссов.

Греческий император, по возвращении Ольги в Киев, прислал послов наапомянуть ей:

– Я тебя много дарил, а ты говорила мне «когда возвращусь в Русь, пришлю тебе богатые дары рабов, воску, мехов и войска на помощь».

Тогда Ольга велела отвечать ему:

– Когда и ты постоишь у меня на Почайне столько же, сколько стояла я у тебя в цареградской гавани, тогда дам тебе обещанное.

В Киеве уже Ольга решила было обратиться в христианство и своего сына; но молодой Святослав был упорен в своих привязанностях к язычеству, и не потому, как говорит летописец, чтобы он признавал преимущества отцовских верований перед христианством, а потому единственно, что в язычестве ему жилось лучше, привольнее, свободнее: тут ничто не запрещено ему «творить норовы поганские», тогда как христианство потребовало бы от него и нравственного и физического сдерживания. Да кроме того, он не хотел в этом разойтись со своим народом, когда народ оставался в язычестве, при идолах, и вся окружающая жизнь сложилась в иные формы, которые были более любы молодому князю, чем формы христианской жизни. Формы эти, притом, вызывали насмешки язычников, а при других обстоятель-

ствах могли вызвать и вражду; Святослав же не хотел, конечно, быть ни смешным в глазах народа, ни чуждым ему по вере.

– Я узнала Бога и радуюсь, – часто говорила Ольга сыну: – если и ты узнаешь Его, то также будешь радоваться.

Святослав обыкновенно отвечал на это:

– Как мне одному принять другой закон? Дружина станет над этим смеяться.

– Если ты крестишься, то и другие станут то же делать, – настаивала мать.

Но все было напрасно. Настойчивость матери могла только раздражать молодого князя, и он действительно сердился на мать, которая с своей стороны видела себя одинокою и даже стала бояться язычников.

– Народ и сын мой в язычестве: дай мне Бог уберечься от всякого зла, – говорила она патриарху.

Когда Святослав возмужал и вышел из-под опеки матери, то его почти совершенно не видали уже в Киеве, так как он находился в беспрестанных походах со своею дружиною, а Ольга одна жила в Киеве с его детьми, со своими внучатами. Ольга успела состариться, а Святослав все воевал, добывая себе славы: так, он разбил хазаров, которым вятичи платили дань, взял их столицу на Дону – Белую Вежу, победил ясов и касогов, живших у Кавказа, напал на волжских болгар и разграбил их главный, славившийся торговлей, город, стоявший ниже Казани; оттуда кинулся вниз по Волге, взял Итиль при впадении Волги в Каспийское море, вышел в это море, разграбил Семендер в нынешнем Дагестане, потом покорил вятичей, и затем, сделавшись союзником византийских императоров, завоевал Болгарию (дунайскую) и поселился в Переяславце на Дунае.

Во время этого мыканья по свету неутомимого «барса» («пардус»), с которым Святослава сравнивали летописи, престарелая Ольга оставалась в Киеве, как бы брошенном на произвол судьбы и никем не защищенном. За Днепром расстилалась степь, откуда свободно могли приходиться кочевые хищники-печенеги.

Печенеги, действительно, пришли и обложили Киев. Обороняться было не кем, а помощи ждать неоткуда – Святослав со своею дружиною был далеко от Киева. Ольга заперлась в городе со своими маленькими внучатами и горстью киевлян. Хищники долго держали осаду, не отходя от стен города, откуда поэтому никто из осажденных не смел выйти, а потому Киев не мог даже подать вести Святославу об опасности, угрожающей его городу и его матери с детьми, ни собрать войска из окрестных земель. Осажденные начали терпеть голод. Воды также не было. Хотя за Днепром и собрались ратные люди в лодках, но, при своей малочисленности, не решались напасть на печенегов, а киевляне, отрезанные от Днепра, а вместе с тем и от этих ратных людей, тревожимые осадой, не могли даже послать им весть о своем бедственном положении.

Киевляне, – говорить летописец, – встужили и стали думать между собою:

– Нет ли кого, кто перешел бы на ту сторону и сказал нашим, что если завтра они не нападут на печенегов, то мы сдадимся.

– Я пойду, – отозвался один молодой человек.

– Иди! – закричали ему все.

Взяв в руки узду, молодой человек тихонько вышел из города. Он стал ходить между печенегами, и так как умел говорить по-печенежски, то осаждающие и приняли его за своего печенежину.

– Не видал ли кто моей лошади? – спрашивал он, ходя между печенегами.

Так он дошел до реки, не будучи узнан. На берегу он скинул с себя одежду, бросился в Днепр и поплыл на ту сторону. Только тут печенеги догадались, что их обманули, и стали пускать в стрелы в плывущего киевлянина, но он успел отплыть далеко и печенежские

стрелы не попадали в него. С своей стороны, русские ратные люди, стоявшие за Днепром, поспешили к нему на помощь с лодкой, взяли его из воды и перевезли на берег.

Он сказал ратным людям:

– Если не подступите завтра к городу, то люди хотят сдаться печенегам.

Воевода ратных людей, Претич, отвечал на это:

– Подступим завтра в лодках, как-нибудь захватим княгиню с княжнами и умчим их на эту сторону, а то как воротится Святослав – погубит нас.

На другой день, на рассвете, ратные люди, поместившись в лодки, громко затрубили. Осажденные киевляне радостно откликнулись им на этот сигнал. Печенеги, вообразив, что это пришел сам князь с войском, испугались и отбежали от города. Ратные люди воспользовались этим замешательством неприятеля, пристали к Киеву, посадили в лодку Ольгу с княжатами и снова отплыли на другой берег Днепра. Печенеги видели это, но не могли понять, что делают киевляне. Печенежский князь воротился один к городу, приблизился к воеводе Претичу и спросил:

– Кто это пришел?

– Люди с той стороны, – уклончиво отвечал Претич.

– А ты князь ли? – снова спросил печенежский предводитель.

– Я княжой муж, и пришёл в сторожах, а по мне идет полк с князем, – бесчисленное множество войска, – сказал воевода, желая поугатать печенега.

Это подействовало.

– Будь мне другом, – сказал печенег.

Претич изъявил согласие. Оба военачальника подали друг другу руки и взаимно одарили друг друга по тогдашнему обычаю. Печенежский князь дал Претичу коня, саблю и стрелы; Претич отдал печенега бронею, щитом и мечом.

Печенеги отступили от города, но так близко остановились, что киевлянам нельзя было и коней своих напоить: печенеги стояли на Лыбеде.

В этом безвыходном положении осажденные послали к князю за помощью.

– Ты, княже, ищешь чужой земли и её блюдешь, а от своей отрёкся: без тебя нас чуть было не взяли печенеги вместе с твоею матерью и детьми, – говорили Святославу посланцы киевские: – если не придешь, не оборонишь нас, то нас возьмут. Разве ж тебе не жалко отчины своей, ни старухи-матери, ни детей малых?

Тогда Святослав, немедленно посадив на коней свою дружину, прибежал с нею к Киеву, поздоровался с матерью, разгневался на печенегов, собрал рать и прогнал хищных варваров в степи.

Но в Киеве, на тихой родине, не сиделось этому беспокойному потомку варягов и пра-родителю будущих казаков запорожских, несмотря на то, что там оставались его маленькие дети и старуха-мать, уже бессильная защитить себя, как она когда-то защищала и свою землю, и своего малютку-сына, будущего «пардуса», от древлян, этого беспокойного Святослава, который теперь бросал и ее, и свою родину.

– Не любо мне в Киеве, – говорил он матери и боярам: – хочу жить в Переяславце на Дунае: там середина земли моей; туда со всех сторон свозят все доброе: от греков золото, ткани, вина, овощи разные, от чехов и венгров – серебро и коней, из Руси – меха, воск, мед и рабов.

– Ты видишь, я уже больна, куда же ты уходишь от меня? – говорила. Ольга. – Когда похоронишь меня, то иди куда хочешь.

Через три дня Ольга умерла. «И плакались по ней, – говорить летописец, – сын, внуки и люди все плачем великим.» Умирая, Ольга запретила править по себе языческую тризну, как она сама, будучи еще язычницей, правила ее по своему муже на кургане под Коростеном. У нее был священник, который и похоронил ее.

Личность Ольги представляется идеалом женщины своего времени. Как на идеал женщины и мудрой правительницы земли русской смотрел на нее народ, создавший об этой женщине все вышеприведенные предания, в основании которых конечно лежала значительная доля исторической правды и факты действительно совершившиеся, но только уже изукрашенные впоследствии народным эпическим творчеством; как на идеал женщины своего времени смотрел на нее и летописец, передавший нам, хотя смутно, образ этой первой исторической русской женщины на основании живых народных сказаний.

С современной нам точки зрения Ольга может казаться жестокою, мстительною и коварною; но жестокость и месть вызывались естественными законами, которыми управлялись тогдашние общества вместо законов писанных, – общества, считавшие кровную месть делом священным, а потому тот, кто жестче мстил, в глазах народа был истинным блюстителем закона. И народ действительно поставил Ольгу высоко в своем мнении: Ольгу он изобразил более хитрою, т. е. более мудрою, чем самые греки – этот, по тогдашним понятиям, коварнейший и лукавейший в мире народ. Оттого и Владимир, принявший православие и обративший в православие весь русский народ, называл свою бабку Ольгу «мудрейшею из всех людей».

Наконец, Ольга является как законодательница и устроительница русской земли, в то время, когда еще не было писанного закона.

II. Малуша-ключница. – Рогнеда. – Анна-болгарыня. – Олова-варяжка. – Мальфреда-чехиня. – Адиль. – Преслава. – Ингигерда

После княгини Ольги на историческом поприще является несколько женских личностей; но они проходят почти незаметно, не как исторические женщины, а почти как исторические тени, и только некоторые из них, если и недостаточно явственно очерчиваются на общем фоне истории, однако же, и не окончательно теряются в общей массе событий.

Эти женщины были: Малка или Малуша, ключница княгини Ольги, сестра известного Добрыни и мать князя Владимира-Святого, а потом некоторые его жены, как-то: Рогнеда – полоцкая княжна, мать Изяслава, Ярослава и Всеволода; Анна-болгарыня, греческая царевна, мать Бориса и Глеба; Олова-варяжка, мать Вышеслава; Мальфреда-чехиня, мать Святослава; Адиль или Адель – мать Мстислава (Владимировичей); Преслава или Предслава – дочь Владимира; Ингигерда – дочь шведского короля Олова и жена Ярослава.

О Малке или Малуше известно только то, что она была сестра Добрыни, знаменитого «кормильца» и дяди Владимира Святого, и состояла ключницей при княгине Ольге, следовательно, по тогдашним общественным отношениям считалась «рабыней. Хотя многоженство в то время и было в обычае, как выражение языческих воззрений на брак, однако, когда Ольга узнала о брачной связи своего сына Святослава с ключницею-рабынею, она в гневе отослала от себя Малушу, которую не могла признать законною или «водимою» женою своего сына и которая в этом изгнании и родила сына Владимира, впоследствии «равноапостольного» просветителя русской земли. «Володимер бо бе от Малки, ключницы Ольгины, – говорит летописец, и бе рождение Володимеру в Будутине веси: тамо бо в гневе отослала ее Ольга, село бо бяше ея тамо.»

Вот все, что оставили нам летописи о Малуше, матери «Володимера стольно-киевского», самого любимого героя народных былин и популярнейшей личности во всей нашей древней истории, – Владимира, крестившая русский народ, Владимира, окруженного сонмом богатырей, одним словом, «Володимера красное солнышко». Только косвенно – сколько нам известно из тех же летописей – судьба Малуши, как рабыни, имела влияние на дальнейшую судьбу её сына и была источником немалых для него неприятностей: Владимира не

хотели признавать – ни отец равноправным сыном с другими сыновьями, ни братья – равноправным братом, ни Рогнеда, полоцкая княжна, за которую он впоследствии сватался, не хотела признать Владимира достойным её руки, называя его «робичичем.»

Вот эти неприятности, невольною причиной которых была Малуша.

Святослав, сын Ольги, предпочитал, как мы видели выше, свое княжение в болгарском городе Переяславце княжению в Киеве. По смерти Ольги, он поспешил в свою любимую резиденцию, а старших сыновей своих: Ярополка посадил в Киеве, а Олега – в земле древлянской; только младшему Владимиру он не дал ничего, и именно потому, что тот был сыном рабыни. Новгород, оставшийся без князя, завидуя Киеву и древлянской земле, имевшим своих князей, послал к Святославу просить и для себя князя.

– Аще не пойдете к нам, – говорили послы новгородские Святославу, – то налезем князя себе (т.-е. поищем на-стороне).

Святослав отвечал: «А бы пошел кто к вам», т. е. «если бы был кто у меня, я бы послал его к вам», забывая или не желая помнить, что у него есть сын Владимир. Когда же спросили Ярополка и Олега – хотят ли они идти в Новгород, те отказались – «отприся Ярополк и Олег.» Не спросили только Владимира – его обошли.

Тогда Добрыня научил новгородцев: «Просите Владимира». Добрыне, брату Малуши, конечно желательно было, чтобы сын её, а его племянник, сделался князем в Новгороде. Новгородцы послушались совета Добрыни.

– Дай нам Владимира, – сказали они Святославу.

– Возьмите, – отвечал тот.

Сына Малуши, следовательно, забыли, как будто бы его и не было. Надо полагать, что он и жил с матерью в изгнании, в селе Будутине.

Затем, когда впоследствии Владимир, уже княживший в Новгороде, сватался за Рогнеду, эта гордая полоцкая княжна, понимая различие между Владимиром, сыном Малуши, и Ярополком, его старшим братом, рожденным не от рабыни, а от «водимой» жены, отвечала:

– Не хочу я за робичича, за Ярополка хочу.

* * *

Личность Рогнеды («Рогнедь»), в ходе исторических событий следующая за Малушей, выступает перед нами несколько рельефнее и очерчивается яснее не только этой последней, но и остальных исторических женских личностей того времени.

Как княжна, воспитанная до известной степени в понятиях своего княжеского рода, она без сомнения знала, что, при многоженстве, дети князей, рожденные от жен незнатного происхождения, не от княжон, а от рабынь, во всяком случае, не считались вполне равными детям матерей из княжеского рода, а потому понимала сама или научена была старшими, что если выбирать кого из двух женихов, то следует отдать предпочтение тому, который родился от матери княжеского рода. Вот почему молодая княжна отвечала: «Не хочу замуж за сына рабыни, а хочу я за Ярополка».

Дело в том, что когда, по смерти Святослава, сыновья его: Ярополк, княживший в Киеве, и Олег, сидевший в древлянской земле, стали враждовать между собою и последний погиб в битве, а Владимир, сидевший в Новгороде, боясь, чтоб и его не постигла участь брата, бежал за море и воротился оттуда с варягами, которых и повел на старшего брата, – Ярополк, желая заручиться сильным союзником для войны с братом, сосватал за себя дочь полоцкого князя Рогволода, Рогнеду. С своей стороны Владимир тоже желал иметь союзника в Рогволоде и, по совету Добрыни, послал к нему отроков, которые должны были сосватать за него молодую княжну, невесту Ярополка. Рогволод, поставленный между двумя силь-

ными и опасными претендентами на руку его дочери, предоставил ей самой выбрать одного из двух представлявшихся ей женихов.

Вот тут-то гордая княжна и сказала отроку Владимира ту знаменитую историческую фразу, которая стала источником страшных бед для всей её родины, для её семьи и отравила затем всю её жизнь.

– Не хочу я за робичича, за Ярополка хочу, – вот та историческая фраза, которая сорвалась с языка молодой девушки, не предвидевшей, конечно, какая редкая в истории слава ожидает этого «робичича».

Когда отроки привезли Владимиру оскорбительный ответ Рогнеды, он, по совету того же пестуна своего и дяди, честолюбивого Добрыни, брата той женщины – Малуши, которую Рогнеда высокомерно назвала рабою, а по ней и сына её, князя Владимира, «робичичем», собрал сильное войско из варягов, новгородцев, чуди и кривичей, и двинулся на Полоцк, чтоб отмстить и за свое оскорбление, и за оскорбление матери, и, наконец, за оскорбление Добрыни, по-видимому руководившего всеми действиями юного князя. Нападение на Полоцк сделано было в то самое время, когда Рогнеду уже готовились «вести за Ярополка». Полоцк был взят, Рогволод с сыновьями убит, а Рогнеда взята, и волей неволей должна была сделаться женою «робичича».

Все это была, главным образом, месть Добрыни за оскорбление сестры его, а вместе с тем и его самого, почти самовластно управлявшая Новгородом за малолетством своего племянника. Гордый отказ Рогнеды был началом той жестокости, с которою действовал Владимир: за презрительный её ответ, Добрыня, а не кто другой желал, чтобы молодой княжне отместили позором, гибелью отца и братьев, порабощением её родины – все это в характере того времени, как мы и видим из безыскусного рассказа летописца: «Яко Роговолоду держащу и володеющею и княжащую полотьскую землю, а Володимеру сущу Новгороде, детску сущю еще и погану (некрещеному), и бе у него Дъбрыня воевода, и храбор, и наряден муж, и сей посла к Роговолоду и проси у него дщере за Володимера.» Мы знаем презрительный ответ Рогнеды. «Слышав же Володимер, – продолжает летописец, – разгневался о той речи, оже рече: «не хочу я за робичича», пожалися Добрыня и исполнися ярости... и Добрыня поноси ему (Роговолоду) и дщери его, нарек ей робичича, и повеле Володимеру быти с нею пред отцем ея и матерью».

Рогнеда, таким образом, была взята Владимиром против её воли. Не красна была её жизнь с этим мужем. Овладев всею русскою землею, полонив землю полоцкою – наследие Рогнеды, и утвердившись в Киеве, Владимир набрал себе много других жен: были у него, как известно и гречанки – вдова брата Ярополка, и болгарыни – Анна греческая – царица, и чехини – Мальфреда, и варяжки – Олова, и шведки – Ингигерда и т. д. Кроме пяти законных жен он имел 300 не «водимых» жен в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 в селе Берестове и много других, случайных, будучи, по выражению летописца, женолобив как Соломон. За всем этим множеством жен Владимир почти не знал Рогнеды, из-за обладания которой было сделано столько жестокостей, пролито столько крови.

Рогнеда, как одна из первых жен князя по старшинству замужества и гордая своим родом, не могла перенести этого унижения, и решила отмстить Владимиру и свой позор, и его холодность, и гибель всего своего рода. У неё был уже от Владимира сын Изяслав, и она могла опасаться, что её унижение перенесется и на сына, уже подраставшего мальчика. Однажды, когда Владимир пришел к ней и уснул, Рогнеда решила зарезать его; но когда она занесла уже руку с ножом, князь проснулся и схватил ее за руку. Рогнеда сказала тогда мужу:

– Горько уж мне стало: отца моего ты убил, и землю его полонил из-за меня, а теперь – не любишь меня и младенца моего.

Тогда Владимир велел ей одеться во все княжеское одеяние, так как она одета была в день свадьбы, и на богатой постели дожидаться его. Владимир решился прийти и убить ее в том богатом наряде, в котором он видел ее еще невестою.

Хотя Рогнеда и исполнила все, что ей приказывал муж, но вместе с тем позвала своего маленького сына, дала ему в руки обнаженный меч и научила его сказать так:

– Смотри, когда войдет отец, ты выступи вперед и скажи ему: разве ты думаешь, что ты один здесь?

Ребенок исполнил, как научила его мать. Когда Владимир увидел сына, которого он не ожидал встретить в спальне Рогнеды, и услышал его слова, то сказал: «А кто ж тебя знал, что ты здесь!» И затем бросил меч, приказал созвать бояр и рассказал им все, что тут было. Этим он как бы просил бояр – своих советников – рассудить его с женою.

– Не убивай уж ее ради этого ребенка, – сказали бояре: – восстанови её отчину и дай ей с сыном.

Владимир не убил Рогнеды, но и не восстановил её отчины, полоненного Полоцка с землею: он построил ей особый город, назвав его в честь сына – Изяславем, и отдал этот город покинутой жене с её ребенком. С той поры, – говорит летописец, – внуки Рогволодовы враждуют с внуками Ярославовыми.

Впоследствии, когда Владимир сделался уже христианином и женился на Анне, греческой царевне, он послал к Рогнеде сказать:

– Вот я уже крещен, принял веру и закон христианский, а потому подобает мне иметь одну жену, которую я взял уже в христианствѣ. Выбери себе кого хочешь из моих вельмож, и я сочетаю тебя с ним.

На это Рогнеда отвечала с свойственной ей твердостью:

– Или ты один хочешь царство земное и небесное воспринять, а мне мало того, что этого временного царства не дал, но и будущего не хочешь дать? Ты ведь отступил от идольской прелести в сыновление Божие, а я была уже царицею и не хочу быть рабою ни земному царю, ни князю, но хочу уневеститься Христу и приму ангельский образ.

Около неё «сидел» в это время другой сын – Ярослав, будущий законодатель русской земли и будущий знаменитый «хромой князь плотников новгородцев», как над ним перед битвой насмеялся воевода Волчий-Хвост. Ярослав «сидел» потому, что не владел ногами – «бе бо естеством таков от рождения». Но когда он услышал слова отца, предлагавшего матери его выйти замуж, и ответ Рогнеды Владимиру, мальчик с плачем вздохнул и обратился к матери:

– О, мать моя! воистину ты царица царицам и госпожа господам!

И от этих слов он встал на ноги в первый раз в жизни, а до того времени совсем не ходил. Рогнеда же постриглась в монахини и названа была Анастасией.

Вот все, что нам известно о судьбе Рогнеды.

Почти в одно время и рядом с этой несчастной и замечательной женщиной на исторической сцене появляется греческая княжна Анна. Одни называют ее «грекиней», другие – «болгарыней», славянкой из Болгарии. Весьма вероятно, что хотя Анна была греческая царевна, но родилась в Болгарии и от отца болгарина. Мать её, дочь византийского императора Романа, при котором Ольга приняла крещение, была замужем за болгарским царем, а во время Владимира в Византии царствовали её племянники-императоры Василий и Константин, приходившиеся двоюродными братьями царевне Анне. Вот почему Анна могла справедливо называться и «грекинею» и «болгарынею», и это не было ошибкой ни в том, ни в другом случае.

Когда Владимир, еще будучи язычником, взял Корсунь или Херсон, принадлежавший грекам, убил тамошнего князя с княгиней и дочь их бывшую за Жильберном, то отправил,

вместе с этим последним и своим воеводой Олегом, послов к греческим императорам Василию и Константину со следующим предложением:

– Я взял ваш славный город. Слышу, что у вас есть сестра в девицах: если вы не отдадите ее за меня, то и с вашим городом будет тоже, что с Корсунем.

На эту страшную угрозу могущественного язычника, опасную силу которых уже не раз испытывала Византия, испуганные императоры отвечали уклончиво, не смея прямо отказать Владимиру.

– Не подобает, – говорили они через послов своих: – христианам отдавать родственниц своих за язычников. Если ты крестишься, то и сестру нашу получишь, а вместе с тем и царство небесное, и будешь нашим единоверцем. Но если не хочешь креститься, то мы не можем выдать за тебя сестры нашей.

Владимир велел сказать царским послам:

– Скажите царям, что я крещусь. Я уже прежде испытал ваш закон: любя мне вера ваша и служение, о которых рассказывали мне посланные от меня мужи.

Обрадованные таким ответом цари умолили Анну согласиться на брак с Владимиром, и когда получили её согласие, вновь отправили посольство в Корсунь.

– Крестись, – велели они сказать: – и тогда пошлем тебе сестру.

Но осторожный Владимир приказал послам своим передать императорам:

– Пусть крестят меня те священники, которые придут ко мне с вашей сестрою.

Греческим императорам ничего не оставалось, как исполнить желание Владимира, и потому они отправили свою сестру в Корсунь. Ее сопровождали и священники.

Молодая царевна боялась идти в неведомую страну, к варварам и язычникам.

– Иду точно в полон, – плакалась она: – лучше бы мне умереть здесь.

Братья уговаривали сестру принести для всей империи эту великую жертву и своей уступкой спасти и их самих и их царство. Они действовали на её молодое воображение, на её христианскую ревность.

– А что, – говорили они: – если тобою Бог обратит в покаяние русскую землю, а греческую избавит от лютой рати? Видишь, сколько зла наделала Русь грекам! И теперь, если не пойдешь, будет то же.

С трудом смогли уговорить они бедную девушку решиться на такую жертву – оторваться от всего дорогого и ехать в далекую сторону, к скифам, как понимали тогда русскую землю. Анна решилась пожертвовать собой, села на корабль, распростилась с родными и с горем отплыла в Корсунь.

Жители Корсуны, большею частью греки, встретили свою царевну с большим торжеством.

Во время приезда царевны, Владимир разболелся глазами так сильно, что совсем ничего не стал видеть, и очень скорбел об этом. Царевна велела сказать ему:

– Если хочешь исцелиться от болезни – крестись скорей, а если не крестишься, то и не вылечишься.

– Если поистине так случится, то и вправду велик будет Бог христианский, – отвечал на это Владимир.

Затем он объявил, что готов принять крещение. Корсунский епископ и прибывшие с царевною священники огласили об этом торжестве и крестили язычника. Едва только возложены были на крещаемого руки, он внезапно прозрел и воскликнул:

– Только теперь познал я истинного Бога!

Вслед за чудным исцелением Владимира крестились и многие из дружины князя.

Брак не замедлил совершиться, и Владимир возвратился из Корсуны в Киев уже с своею новою христианскою женою.

Вот в это-то время, конечно, когда Владимир предложил своей бывшей жене Рогнеде выйти замуж за любого из вельмож, Рогнеда пошла в монастырь, бросив свое языческое, но ставшее столь известным в истории, имя.

О дальнейшей же судьбе Анны почти ничего неизвестно: знаем только, что она умерла вдали от своей родины раньше своего мужа, а именно – в 1011 году.

Около этого же времени, как бы мимоходом, появляется на исторической сцене Предслава или Преслава, дочь Владимира и сестра злополучных юношей-мучеников Бориса и Глеба, но тотчас же и исчезает с этой сцены ужасов, убийств и кровопролитий.

Когда умер Владимир и об этом событии не могла еще дойти весть до Новгорода, где сидел сын его Ярослав, прозванный впоследствии «окаянным», успел умертвить брата своего Бориса, чтоб одному быть властителем русской земли, Предслава тайно послала в Новгород сказать своему брату Владимиру: «Отец умер, Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, послал и на Глеба – берегись его!»

Затем Предслава появляется вновь, и также мельком, под 1017 годом, т. е. через два года после смерти отца. Польский король Болеслав еще раньше этого сватался за Предславу, но получил отказ. В отмщение за это и для распространения своей власти на русском востоке, Болеслав пошел войной на Русь, разбил Ярослава, брата Предславы, и взял Киев. Здесь-то он и нашел Предславу. Желая отомстить позором дочери за отказ её отца, Болеслав взял несчастную княжну к себе в наложницы, вместе с другою сестрою, которой имя нам неизвестно.

Какая участь должна была ожидать Предславу в Польше – известий об этом наши летописи не сохранили.

Так же безвестно проходят перед нами жена Ярослава Ингигерда, дочь шведского короля Олофа, затем сестра Ярослава и Предславы – Доброгнева или Мария, которая в 1043 году выдана была в замужество за Казимира Польского и повезла с собою богатое приданое, по словам летописца; потом Анастасия, дочь Ярослава, отданная замуж за венгерского короля Андрея, Анна, выданная за французского короля Генриха I-го и знаменитая «дева русская» Елизавета – за Гаральда Норвежского.

О последней сохранилось в нерусских памятниках богатое поэтическое предание: как Елизавета пленила сердце Гаральда, как он старался геройскими подвигами заслужить её расположение, мыкался по морям, терпел страшные лишения, показывал чудеса храбрости, но все-таки долго не мог покорить русской красавицы, о чем и передает известная песня, которую будто бы пел Гаральд, – песня, оканчивающаяся (в русском переводе) известным припевом: «А дева русская Гаральда презирает...»

Хотя вообще положение русской женщины в это далекое от нас время представляется до того неясным, что даже немногие из них исторические личности, кроме Ольги, Рогнеды и Анны, проходят какими-то тенями перед глазами историка, однако по некоторым данным можно заключить, что положение это вполне соответствовало грубости нравов того времени, особенно же при естественном господстве и уважении материальной силы предпочтительно перед силами нравственными.

Правда, женщины княжеского рода, при малолетстве детей, управляют землей наравне с князем, имеют даже и при жизни князей свои дружины, как это подтверждают и слова Владимира в былинах: «Гой еси, Иван Годинович! возьми ты у меня, князя, сто человек русских могучих богатырей, у княгини ты бери другое сто»; жены, по смерти мужей, получают часть наследства, даже дочери, если у них не было братьев, и только при братьях сестры ничего не получают, почему братья обязываются выдавать их замуж; женщины провожают своих мужей на битву; княжеские жены имеют свои волости, как Рогнеда; князья иногда советуются со своими женами о делах, как Владимир с Анною о церковном устройстве, и проч.; но в тоже время языческое многоженство ставит женщину в самое обидное положение.

Что касается быта собственно княжеского, то в положении женщины замечается, в этот период времени, такая особенность, какой мы не замечаем в последующем ходе русской истории или по крайней мере видим ее гораздо реже: это то, что женами первых русских князей являются женщины всех национальностей – и «грекини», и «чехини», и «болгарыни», немецкие и варяжские княжны, равно и русские княжны уходят замуж далеко от родины: в Германию, Венгрию, Польшу, Норвегию и Францию.

Следующие за этим начальным периодом истории Русской земли столетием – одиннадцатое и двенадцатое – представляют какое-то беспорядочное брожение и борьбу элементов: князья-родичи враждуют из-за земель, из-за уделов, что, впрочем, продолжается до XV-го века; незаселенные земли постепенно, хотя медленно, заселяются; яснее обозначается русская жизнь в отдельных русских областях – Суздальской, Владимирской, Киевской, Новгородской, Галицкой и т. д. Вся поглощенная борьбою своих собственных элементов и отражением от своих областей кочующих соседей-печенегов, потом половцев, торхов, берендеев, черных-клобуков – Русь как бы забывает о варягах и греках, и надолго замыкается в себе самой, в своем собственном внутреннем историческом росте.

В этой борьбе элементов и в процессе этого внутреннего постепенного гражданского роста женщина показывается редко, в неясных или слишком общих очертаниях, так что ни одна женская личность не выявляется даже в тех неясных образах, в каких выявились, например, Ольга, «переключавшая» греческого императора, гордая Рогнеда, не хотевшая «разуть робичича», Елизавета, прославленная песнью Гаральда.

Целых два века дают нам каких-нибудь две-три женщины личности, о которых летописцы упоминают вскользь, случайно, как например о том, что какая-то сердобольная попадья, недалеко от Юрьева, сжалившись над страданиями ослепленного братьями Василька, вымывает кровавую сорочку этого несчастного князя, когда он лежал в беспамятстве, и потом поит его водой, когда больной приходит в себя, или о том, что княгиня Рогнеда (другая), сестра князя Ростислава, бывшая замужем за Олегом, князем Северским, уговаривает умирающего брата не покидать ее, а «лечь в построенной им церкви» в том городе, где живет Рогнеда, или, наконец, о том, что Ольга, несчастная жена знаменитого князя Ярослава Владимировича Галицкого, упоминаемого в «Слове о полку Игоря», под именем «Осмомысла» и променявшего свою жену на какую-то Настасью, убегает из Галича в Польшу с сыном Владимиром, а галичане, схватив возлюбленную Осмомысла сжигают ее на костре, а потом бунтуют против сына Осмомысла от этой Настасьи – Олега, в пользу другого сына Осмомысла и Ольги, Владимира, которого отец обидел в пользу Олега, рожденного от более дорогой для него женщины, чем его жена: все это такие случайные явления и представляются в таких неопределенных очертаниях, что о них больше и сказать нечего.

Несколько явственнее рисуется одна только женская личность за все эти двести лет – это жена Романа, князя Галицкого, который, по преданию, «пахал Литвою».

У нее на на руках после мужа осталось два сына-младенца, Даниил и Василько, права которых она энергически отстаивает от враждебных родичей, князей других уделов, спасает своих детей в чужих землях, ищет себе помощи и в Венгрии, и в Польше, и наконец добивается того, что маленького Даниила избирают князем в Галиче, в столице его отца, а другого малютку – Василька – в Бельзе. Но бояре-галичане, привыкшие самовластно управлять городом, не желают, чтобы ребенок-князь находился под руководством умной матери, и когда она приезжает к сыну, ее заставляют удалиться из Галича. Ребенок-князь не хочет оставаться без матери, плачет, и, когда шумавинский тиун хочет насильно отвести его коня, на котором он ехал за удаляющеюся от него матерью, малютка-князь выхватывает меч и бьет тиуна, но бессильная рука ранить своего собственного коня. Мать вырывает меч у маленького Даниила, успокаивает его и уезжает к другому сыну – Васильку.

Вот почти и все, что можно сказать о русских исторических женщинах XI-го и XII веков, хотя, конечно, гораздо больше можно было бы сказать вообще о положении женщины в то время. Но целью наших очерков мы поставили себе не общую характеристику положения женщины в России, а только краткое ознакомление с более или менее выдающимися историческими женщинами, почему и переходим к последующим периодам истории Русской земли.

III. Княжна Сбыслава. – Княжна Измарагд. – Княгиня Верхуслава. – Гертруда, княгиня Галицкая. – Ольга, княгиня Волынская и ее приемыш Изяслав. – Княгиня Кончака-татарка. – Елена Омулич, служанка Анны, княгини Литовской. – Александра, княгиня Нижегородская. – Ульяна, княгиня Вяземская

За удельными усобицами, от которых почти два столетия страдала и обливалась кровью Русская земля, следуют годы еще более тяжелых для неё испытаний – это так называемое «Монгольское иго», под которым в течение еще двух столетий буквально стонала и обливалась кровью Русская земля.

Во все предшествовавшие три столетия женщина являлась на исторической сцене, как тень. Теперь она еще более прячется в свой терем, или в монастырь, или в бедную избушку, чтоб не увидал татарин, и летописец молчит о ней, потому что её нигде не видать, ни в каких делах она не принимает участия, а если и бывает иногда заметно её присутствие, если и упоминается её имя, так разве тогда только, когда она родится и воспринимается от купели, когда выходит замуж, постригается в монастырь, или же появляется в последний раз в погребальной процессии.

Таковыми безличными тенями на общем историческом фоне являются княжна Сбыслава – четвертая дочь великого князя Всеволода, княжна Измарагд – дочь Ростислава Рюриковича, и некоторый другие. О первой летописец заносит известие в свой хронограф, наполненный перечислением княжеских родовых усобиц и споров из-за волостей, что «родися у великаго князя Всеволода четвертая дочи, и нарекоша имя во святом крещеннѣ Полагья, а княже Сбыслава» – вот и все. А что было потом с этой княжной Полагьей (Пелагия) или «по-княжески», «по-варяжски» Сбыславой – летописец уже не говорит: она совершенно потерялась для него из виду.

С таким же летописным лаконизмом заносит бытописатель в свою «Повесть временных лет» и имя другой княжны – Измарагды, которую потом как бы совсем забывает, потому что личность её ничем не проявилась в истории Русской земли. «Родилась дочь у Ростислава Рюриковича, – читаем у летописца под 1198 годом, – и назвали ее Евфросиньей, прозванием Измарагд, т. е. «дорогой камень». Когда крестили эту маленькую княжну, то на крестины приехал знаменитый князь Мстислав-Удалой и тетка новорожденной Передслава; взяли ее потом к деду и бабке в Киев, где она и воспитана была «на Горах».

После этого княжна Измарагда бесследно исчезает со страниц истории.

На более долгое время появляется на этих страницах княжна Верхуслава – дочь великого князя Всеволода III, но опять-таки появляется она только в трех случаях жизни: когда ее, восьмилетнего ребенка, выдавали замуж, потом, когда она приезжала от мужа в свой родной город проводить в монастырь свою больную мать, при жизни мужа и отца Верхуславы, постригшуюся в инокини, и, наконец, когда она оказывает покровительство Печерскому черноризцу Поликарпу, искавшему епископства.

Вот трогательное описание свадебных проводов восьмилетней Верхуславы:

«Посла князь Рюрик (княживший в Белгороде) Глеба, князя Туровского, шурина своего с женою, славна тысяцкаго с женою, Чурыню с женою, и других многих бояр с женами, к Юрьевичу Великому Всеволоду, в Суздаль, вести дочь его Верхуславу за сына его Ростислава. На Борисов день отдал великий князь Всеволод дочь свою Верхуславу, и дал за нею бесчисленное множество золота и серебра, и сватов одарил большими дарами, и отпустил с великою честью. Ехал он за милою своею дочерью до трех станов, и плакали по ней отец и мать, потому что была она им мила и молода, только осьми лет. Великий князь послал с нею сына сестры своей Якова с женою и иных бояр с женами. С своей стороны князь Рюрик сыграл сыну Ростиславу свадьбу богатую, какой не бывало на Руси: пировали на ней сличком двадцать князей; снохе же своей дал много даров и город Брагин; Якова-свата и бояр отпустил к Всеволоду в Суздаль с великою честью, одаривши их богато».

После этого Верхуслава является в печальной процессии провод своей матери в монастырь. Мать её, княгиня Мария, как мы видели выше, была жена великого князя Всеволода III Юрьевича. Она восемь лет страдала неизлечимой болезнью, и, при живом муже и с его согласия пошла в монастырь, чтобы там вскоре и умереть в «ангельском чине». Вот на эти-то грустные проводы и приезжала дочь её Верхуслава. «Постриглась, – говорит летописец, – великая княгиня в монашеский чин, в монастыре святой Богородицы, который сама построила, и проводил ее до монастыря сам великий князь Всеволод со многими слезами, сын его Георгий, дочь Верхуслава, жена Ростислава Рюриковича, которая приезжала тогда к отцу и матери; был тут епископ Иоанн, духовник ее игумен Симон, и другие игумены и чернецы все, и бояре все и боярыни, и черницы из всех монастырей, и горожане все проводили ее со слезами многими до монастыря, потому что была до всех очень добра. В этом месяце она умерла, и плакали над нею великий князь, и сын его Юрий плакал, и не хотел утешиться, потому что был любим ею».

Наконец, еще раз является Верхуслава, как покровительница иноков, как лицо уже самостоятельно действующее на том поприще, которое всего более было доступно и по сердцу женщине XIII века. Верхуслава упоминается в письме Симона, епископа Владимирского и Суздальского к Поликарпу, Печерскому черноризцу, проявившему честолубивое желание быть возведенным при протекции Верхуславы, в сан епископа.

«Пишет ко мне княгиня Ротиславова, Верхуслава, – говорится в письме Симона, – что хочет поставить тебя епископом или в Новгород, или в Смоленск, или в Юрьев; пишет: «не пожалею и тысячи гривен серебра для тебя и для Поликарпа». Я ей отвечал: «дочь моя Анастасия (имя Верхуславы крестное, а не княжеское)! дело не богоугодное хочешь сделать: если бы он пробыл в монастыре неисходно с чистою совестью, в послушании игумену и всей братии, трезвясь во всем, то не только облекся бы в святительскую одежду, но и высшего царства достоин был бы».

Так как в то время русская земля продолжает еще воевать, а иногда и дружить с половцами, то русские князья женятся иногда на половецких княжнах; но и половчанки, как и русские княжны и княгини, бесследно проходят в истории Русской земли. Были случаи, что и русские княгини, по разным обстоятельствам убегали в половецкую землю и там выходили замуж за половецких князей. Так к половцам бежала внучка Владимира-Мономаха, дочь князя Всеволода Городенского, жена князя Владимира Давыдовича и мать князя Святослава Владимировича. «Приде же, – говорит летописец, – Изяславу болши помочь Белугороду – приде бо к нему Вашкорд в 20 тысяч, отчим Святославль Владимировича: бе бо мати его бежала в половцы, и шла за не» (т. е. вышла замуж за Башкорда-половчанина).

Равным образом, когда татары завоевали Русскую землю, русские князья начинают жениться в орде, выпрашивая себе в жены дочерей ханов, чтобы этим родством укрепиться в Русской земле или отнять удел у противников. Но как русские женщины, как половчанки,

так равно и княжны-татарки, вступая на Русскую землю, проходят по ней как бы мельком, не оставляя иногда даже и своего имени в летописных сказаниях.

Встречаются иногда, хотя конечно редко, случаи, когда женщина оказывает влияние и на общественные дела, как мать, как старшая в семье, как почетное лицо; но и, тут летописец не считает даже нужным упоминать ее имя, потому что явление это и в его глазах кажется случайным, и, раз указав на такое женское лицо, он долго не останавливается на нем и в другой раз уже к нему не возвращается,

Во время борьбы князя Даниила Романовича Галицкого с князем Александром Бельзским, сторону последнего держит боярин Судислав, союзник венгров и советник Венгерского королевича, претендовавшего на Галич. Венгерский король в союзе с Александром Бельзским и Судиславом, идет к Галичу на князя Даниила. Воевода этого последнего, Давид Вышатич, запирается в Ярославле и мужественно отбивается от венгерской рати. Но у Вышатича есть теща, большая приятельница Судислава, который не иначе называет ее, как матерью. Эта женщина, из приязни к Судиславу, страшит своего зятя Вышатича невозможностью долго защищаться от венгерской рати. Тщетно товарищ его, Василько Гаврилович «муж крепкий и храбрый», уговаривает его не сдаваться; тщетно переметчик, ушедший от венгров в Ярославль, открывает осажденным, что венгерская рать долго не может простоять под городом, что она не в силах овладеть крепостью, – теща Вышатича побеждает его своими запугиваниями в пользу своего приятеля Судислава, и воевода Вышатич слушается тещи, сдаёт город венграм.

Другая подобная же теща лишаешь удела своего зятя в пользу своего внука, как это мы видим под 1249-м годом. Умирает князь Василий Всеволодович Ярославский и не оставляет после себя наследника. Прямой наследницей удела остается дочь покойного князя, которая и начинаешь княжить над своею землею с помощью матери. Желая передать правление уделом в мужские руки, княгиня-мать находит для княжны-дочери жениха в князе Федоре Ростиславиче Можайском, обиженном братьями. От брака Федора Ростиславича с княжной Ярославской рождается сын Михаил. Когда князь Федор, по обычаю того времени, поехал на поклон в Орду, жена его умерла, оставив малолетнего сына на руках бабушки. Эта последняя, подумав со своими боярами, провозгласила ярославским князем малолетнего Михаила, а когда отец его воротился из Орды – затворила перед ним ворота Ярославля и непустила его в город. Федор вновь отправился в Орду, снискал милость хана, женился на его дочери и, при помощи могущественного родственника, победил свою первую тещу, овладев Ярославлем, тем более, что сын его от первой жены, князь Михаил, в это время умер.

При родовых и удельных усобицах женщина того времени нередко является жертвою произвола и насилия и, вместе с тем, невинным источником новых смут в Русской земле.

У Миндовга, литовского князя, умирает жена (1262 г.). Другая сестра этой умершей – за Довмонтом, князем Нальщанским. Миндовг посылает сказать жене Довмонта:

– Сестра твоя умерла – приезжай сюда поплакаться по ней.

Жена Довмонта приезжает.

– Сестра твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтоб другая детей её не мучила, – говорит ей Миндовг, и женится на замужней сестре своей умершей жены.

Оскорбленный Довмонт соединяется с сыном сестры своего врага Миндовга, с Тренятою, убивает Миндовга с двумя сыновьями. После этого еще долго стоят смуты в литовской земле, долго льется кровь враждующих между собою областей.

Дочь австрийского герцога Фридриха, молодая Гертруда, выходит замуж за князя Романа Даниловича Галицкого, и так как этот брак дает галицким князьям право искать австрийских земель, то разгорается долгая война галицких князей с Австрией и Чехией. Гертруда с мужем подвергаются всем случайностям войны, долго томятся в осаде, долго голодают, кормятся только с помощью преданной им женщины и едва спасаются от плена.

В большинства случаев женщина выносить немало горя и лишений в это тяжелое время, редко даже видит мужа, постоянно живет в страхе за свою свободу и за жизнь детей, и всегда представляется существом, заслуживающим искреннего сочувствия, особенно же при ее страдательном положении между враждующими силами.

Так не менее страдательную роль играют в это время княгиня Ольга, жена князя Владимира Васильковича Волынского, и приемыш их Изяслава, обе столь нежно любимые: первая – мужем, а последняя – нареченным отцом. Татары только что опустошили Русскою землю и через Волынь и Галичину идут на Польшу. Татарский вождь Телебуга на пути своем в Польшу велит идти с собою всем русским князьям – и они повинуются, идут как данники и «улусники» страшного хана. Идет с ним и Владимир Василькович Волынский, человек больной – у него гнила нижняя челюсть.

Перед походом в Польшу, больной Владимир, в нежной заботливости о своей княгине Ольге и приемыше Изяславе, хочет обеспечить их судьбу и призывает к себе двоюродного брата Мстислава Данииловича Луцкого, которому и отдает все свои владения, после своей смерти, выделив часть в пользу жены и приемыша и прося брата не обижать их, а защищать от обид других. В походе он окончательно разбаливается и возвращается домой, потому что, говорит летописец, жалко было смотреть на него.

Пробыв несколько дней в своем Владимире-Волынском, окруженный заботами Ольги и приближенных, он начал говорить княгине и боярам:

– Хотелось бы мне поехать в Любомль, потому что погань эта (татары) сильно мне опротивела. Я человек больной, нельзя мне с ними толковать, – пусть вместо меня останется здесь епископ Марк.

Княгиня повезла больного куда он хотел – в Брест, из Бреста в Каменец, где больной и слёг, говоря княгине:

– Когда эта погань выйдет из земли, то поедem в Любомль.

Через несколько дней приехали слуги, бывшие с татарами в походе.

Больной стал расспрашивать их, ушел ли Телебуга из Польши, как здоровье братьев Льва и Мстислава и племянника Юрия. Слуги при этом сказали, между прочим, что Мстислав уже раздает своим боярам города и села Волынские, когда больной князь еще не умер и княгиня его с Изяславой не обеспечены. Владимир сильно рассердился на брата, особенно когда в перспективе он мог видеть отнятие волостей у нежно любимых им Ольги и Изяславы.

– Я лежу болен, – говорил он: – а брат придал мне еще болезни: я еще жив, а он уже раздает города мои и села; мог бы подождать, когда умру. – И отправил посла к Мстиславу.

– Брат! – говорил он через посла: – Ведь ты меня ни на полону взял, ни копьем добыл, ни ратью выбил меня из городов моих, что так со мною поступаешь? Ты мне брат, но ведь есть у меня и другой брат – Лев, и племянник Юрий. Из всех троих я выбрал тебя одного и отдал тебе свою землю и города, по своей смерти, а жив – тебе не вступаться ни во что. Я так распорядился – отдал тебе землю – за гордость брата Льва и племянника Юрия.

Мстислав поспешил успокоить больного и снять с себя обвинение.

– Брат и господин! – доказывал он брату через посла: – земля Божия и твоя, и города твои, и я над ними не волен, сам я в твоей воле, и дай мне Бог иметь тебя как отца и служить тебе со всею правдою до смерти, чтоб ты, господин, здоров был, а мне главная надежда на тебя.

Люба была, – говорит летописец, – эта речь Владимиру. Он успокоился, и княгиня повезла его в Райгород. Здесь он говорит Ольге:

– Хочу послать за братом Мстиславом – урядится с ним о земле, и о городах, и о тебе, княгиня моя милая Ольга, и об этом ребенке Изяславе, которую люблю как дочь родную: Бог за грехи мои не дал мне детей, так эта была мне вместо родной, потому что взял ее от матери в пеленках и вскормил.

На зов больного брата приехал Мстислав. Владимир поднялся с постели, сель, спрашивал про поход. Мстислав все рассказал по порядку, затем простился и ушел к себе на подворье.

Владимир послал к нему епископа и двух бояр.

– Брат! я затем тебя призвал, что хочу урядиться с тобою о земле и о городах, и о княгине своей и о ребенке Изяславе, – хочу грамоты писать.

– Брат и господин! – отвечал Мстислав: – я разве хотел искать твоей земли по твоей смерти? Сам ты приехал ко мне в Польшу объявить, что отказываешь мне свою землю. Если хочешь грамоты писать, то пиши как Богу любо и тебе.

Епископ воротился с этим ответом, и Владимир велел писцу писать грамоты: в одной он отказал Мстиславу всю землю и города; в другой – жене отказал город Кобрин с несколькими селами и монастырь апостольский с селами.

«А княгиня моя, – говорилось в конце грамоты, – захочет идти в монастырь после меня, пусть идет; а не захочет – то как ей любо: мне ведь не смотреть, вставши из гроба, что кто станет делать по моей смерти».

– Целуй крест на том, – сказал он Мстиславу: – что не отнимешь ничего у княгини моей и у ребенка Изяславы, не отдашь ее неволею ни за кого, но за кого захочет княгиня моя, за того отдашь.

Из Райгорода Ольга повезла его в Любомль, где он и умер (1288 г.). Княгиня и придворные слуги обмыли тело, обвили его бархатом и кружевами, как следует хоронить царей, и в санях повезли во Владимир. Это было 10 декабря.

Замечателен образчик причитанья, оставленный нам летописцем, причитанья, которым Ольга оплакивала своего мужа при похоронах. Вот оно: «Царь мой добрый, кроткий, смиренный, правдивый! Вправду назвали тебя в крещеньи Иваном – всякими добродетелями похож ты был на него: много досад принял ты от сродников своих, но не видала я, чтоб ты отмстил им злом за зло». Достоин замечания, что в этих же самых выражениях голосила (причитала) жена Смоленская князя Романа, когда тот умер. – А бояре причитали над Владимиром Волынским: «Хорошо б нам было с тобою умереть: как дед твой Роман, ты освободил нас от всяких обид, поревновал ты деду своему и наследовал путь его; а уж теперь нельзя нам больше тебя видеть: солнце наше закатилось, и остались мы в обиде»...

Так, – говорит летописец, – плакали над ним множество владимирцев: мужчины и дети, немцы, сурожцы, новгородцы; жида плакали точно так, как отцы их, ведомые в плен вавилонский.

Таким образом, и Ольга и Изяслава попадают на страницы истории только в виде пояснений и в виде усиливающих впечатление красок в трогательной картине смерти Владимира Волынского, и личности эти являются глубоко симпатичными потому собственно, что на них перенесена нежная заботливость умирающего князя.

Из числа татарских княжон, бывших в замужестве за русскими князьями, несколько более других выдается Кончака, да и то не своею личностью, а тем, что она была невольной причиной ужасной смерти князя Михаила Александровича Тверского, замученного в Орде.

Во время борьбы Твери и Москвы за первенство, в начале XIV-го столетия, сильно враждовали между собою князья Московский и Тверской. Тверской князь Михаил, желая выслужиться пред ханом, обвинял князя Юрия Даниловича Московского в происках и неповиновении Орде. Юрий отправился в орду, оправдался перед ханом и не только заслужил его расположение, но до того сблизился с повелителем Русской земли, что тот выдал за него сестру свою Кончаку. Кончака приняла христианство и при крещении названа Агафьей. Юрий воротился из Орды с женою и с татарским посольством, во главе которого стоял Кавгадый. Михаил тверской, узнав об этом, пошел с своею ратью навстречу противнику. В битве недалеко от Твери, в селе Вортеноне, Юрий Московский был разбит и бежал, а жена его

Кончака и многие бояре взяты в плен Михаилом Тверским. Хотя Юрий после того и подступил с войском к Твери, но битвы противники не дали друг другу, а согласились идти в орду и отдать свой спор на решение хана (1317 г.). К несчастью для Тверского князя, его пленница, княгиня Кончака-Агафья, умерла, не дождавшись освобождения из плена и конца спора своего мужа с противником. Это обстоятельство послужило поводом к обвинению Михаила Тверского. Распущен был слух, что Кончаку отравили в Твери, и этого слуха с лишком достаточно было для Юрия Московского, чтоб очернить своего врага в глазах хана, хотя, быть может, Московский князь и сам не верил, что жена его отравлена. Михаил Александрович Тверской должен был явиться в Орду, где ему поставили в вину смерть Кончаки, и несчастный князь, как известно, погиб там мученической смертью.

Тело же Кончаки было привезено мужем в Москву и там предано земле с подобающими почестями.

Из женщин не княжеского рода ярко выделяется в это время одна личность своим героическим самоотвержением, по характеру своему напоминающим легендарный героизм классических женщин древней Греции и Рима. Это – Елена, служанка княгини Анны, жены Витовта Литовского, исторический подвиг которой относится к истории Литовской Руси.

Во время борьбы великого князя литовского Ягайла с Кейстутом и сыном его Витовтом, последние, при осаде города Трока, хитростью были завлечены Ягайлом в свой стан, закованы в железа и увезены в Крево, в тамошнюю укрепленную тюрьму. Старик Кейстут на пятую ночь был удушен по приказанию Ягайла, а Витовт, в то время больной, оставался пока в тюрьме. Жене Витовта, княгине Анне, позволено было навещать больного мужа каждый день. Она ходила к нему в темницу с двумя служанками, и навещала его до тех пор, пока он не выздоровел, хотя и притворялся больным перед своими врагами. Когда Анна получила от Ягайла позволение одной выехать в Моравию, то в ночь накануне отъезда она, в сопровождении тех же служанок, явилась к мужу проститься и замешкалась у него долее обыкновенно. Это было сделано для того, чтобы дать время одной из служанок, по имени Елена Омулич, переодеться в платье Витовта и вместо него лечь в постель, а Витовту дать возможность одеться в платье служанки. Переодетым он вышел из тюрьмы вместе с женою. Там они спустились со стены, сели на лошадей, уже заранее приготовленных для беглецов тиуном из Волковыйска, приверженным Витовту, и ускакали в Брест, а оттуда на пятые сутки достигли Плоцка.

В Крево же только на третий день узнали, что в постели Витовта лежит служанка его жены Елена. Последняя, конечно, поплатилась жизнью за свое великодушие.

Насколько вообще беспокойная, воинственная жизнь того времени отражалась на положении женщины, на большей или меньшей степени её спокойствия и благосостояния, наконец, на ее личной деятельности, видно из того, что значительный процент женщин спешить укрыться в монастыри, где все-таки, сравнительно, жизнь представлялась более обеспеченною, менее тревожною. Те из женщин и девушек, которые оставались в мире, нередко разделяли голод, плен и смерть со своими мужьями, братьями. Нередко, впрочем, женщины становились посредницами и примирительницами между воюющими мужьями, братьями и другими родственниками, как например сестра Михаила Александровича Тверского, бывшая замужем за Ольгердом, великим князем Литовским, не один раз выманивала слезами своего могущественного мужа помощь брату, теснимому московским князем Дмитрием Донским и нередко искавшему убежища в Литве. С другой стороны, Елена, дочь этого же сильного Ольгерда, вышедшая замуж за князя Владимира Андреевича Серпуховского, героя Куликовской битвы, выплакивает спокойствие уделу своего мужа. Княгиня Александра, жена нижегородского князя Семёна Дмитриевича, всю жизнь свою мыкалась по Руси и по татарским землям вместе с несчастным мужем, которого выбивал из нижегородского удела племянник, московский князь Василий Дмитриевич, сын Донского. Раз мужу

ее удалось выхлопотать у татар вспомогательную рать на своего противника, князя московского: князь Семен пришел в свой удел с татарским царевичем Ейтяком и тысячью татар, выбил из Нижнего московскую рать с боярами и овладел своим уделом; но скоро московский князь с своей стороны выбил его из Нижнего, и он должен был с женою Александрю бежать в Орду, укрываться от московских врагов на Волге, где-то в мордовской земле, прятать жену в монастыре. Но злополучная беглянка была найдена и в мордовской земле, в месте, называемом Цыбирца (полагают, что это Симбирск или Цивильск), у святого Николы, где басурманин Хизибаба поставил церковь. Княгиню Александру ограбили там московские ратники, вместе с детьми привезли на Москву, заключили потом на дворе Белеутове, где несчастная жертва удельных смут сидела до тех пор, пока муж ее не покорился окончательно. Тогда ее вместе с больным мужем отправили в Вятку, где князь Семен через несколько месяцев и умер, оставив жену с детьми без всякой вотчины. «Этот князь, – говорит летописец, – испытал много напастей, претерпел много истомы в орде и на Руси, все добиваясь своей отчины. Восемь лет не знал он покоя, служил в орде четырем ханам, все поднимая рать на великого князя московского; не имел он своего пристанища, не знал покоя ногам своим – и все понапрасну». Эту же истому и скитальческую жизнь должна была, как мы видели, выносить и жена его, бесприютная Александра.

Незавидное положение женщины того времени и относительную грубость нравов можно видеть в трагической судьбе княгини Ульяны, жены князя Семена Мстиславича Вяземского.

Князь Вяземский, лишенный своего удела, нашел убежище в Торжке, где и жил с своею молодою женою. Там же находился, в качестве великокняжеского наместника, князь Юрий Смоленский, тоже потерявший свой удел. Юрий влюбился в княгиню Ульяну, и, не находя в ней взаимности, убил ее мужа, чтоб легче воспользоваться беззащитным положением жены. Ульяна, однако, при нападении Юрия, защищалась и схватила нож; но, не попав в горло своему насильнику, поранила его только в руку, и бросилась бежать. Юрий догнал ее на дворе, изрубил мечом и велел бросить в реку. Но такой зверский поступок не мог быть терпим даже в тогдашнем грубом обществе, и летописец горько обвиняет убийцу, говоря, что его покарали и люди, и совесть. Летописец замечает об убийце несчастной княгини: «и бысть ему в грех и в студ велик, и с того побеже к орде, не терпя горького своего безвременья, срама и бесчестия». Юрий ушел потом в Рязанскую землю, где и жил у пустытника Петра, плачась о грехах своих, как говорит летописец.

IV. Софья Витовтовна

Более рельефно из целого ряда всех упомянутых в предыдущей главе бесцветных женских личностей выступает княгиня Софья Витовтовна, жена великого князя Василия Дмитриевича Московского, сына Дмитрия Донского, и мать великого князя Василия Темного.

Софья Витовтовна составляет уже переход к женским историческим личностям более нового времени, между которыми мы увидим впоследствии знаменитую Марфу Посадницу, Софью Палеолог, Елену Ивановну – великую княгиню литовскую и королеву польскую, Елену Глинскую – мать Грозного и других.

В 1386 году, Василий Дмитриевич московский, еще не будучи великим князем, спасался бегством от Тохтамыша. Из орды он пробрался в Молдавию, оттуда во владения ливонского ордена и потом в Литву. По пути он виделся с Витовтом литовским и дал ему слово жениться на его дочери Софье. Как только Василий Дмитриевич стал великим князем (в 1389 году), то на другой же год отправил трех бояр за своею невестою, которые и привезли Софью в Москву, «из-за моря, от немцев», как выражается летописец.

Около семидесяти лет жила Софья Витовтовна в Москве, пережила своего мужа, лично участвовала, как умная и энергичная женщина, в великом «собрании Русской земли», помогала своему сыну в управлении землею, попадалась в плен к врагам, выдерживала в Москве осады татар и других противников Московского княжества и вообще значительно возвысила собой положение женщины в Русской земле, положение – столь обесцвеченное и приниженное удельными смутами и татарщиной.

После тридцатипятилетнего замужества Софья Витовтовна овдовела (в 1425 году). При жизни мужа, князя Василия Дмитриевича, деятельность Софьи Витовтовны мало проявлялась; но оставшись вдовой с малолетним сыном, великим князем московской земли, она поставлена была в необходимость оберегать отчину своего сына от притязаний других удельных князей, и с честью отстояла главенство Москвы в ряду прочих, еще тогда могущественных удельных княжеств. После смерти мужа, Софья Витовтовна ездила в гости в отцу (в 1427 г.) и на время своего отсутствия, поручала маленького своего сына Василия Васильевича и всё московское княжество князю Юрию Дмитриевичу Звенигородскому, дяде князя Василия.

В 1430 году Витовт, отец Софьи, умер, и для этой замечательной женщины началась с тех пор более трудная политическая жизнь, исполненная всяких тревог и опасений за целостность своей земли. Юрий Дмитриевич Звенигородский, по смерти Витовта, не опасаясь уже Литвы, которая могла вступить за Софью Витовтовну и ее сына, начал враждовать против Московского князя, и надо было немало труда, чтобы отстоять перед ханом великокняжеское первенство молодого Московского князя, у которого в орде явился такой сильный противник, как Юрий Звенигородский. Софья же Витовтовна, благодаря своему влиянию на сына, помешала ему вступить в неравный брак с дочерью одного из своих бояр. Когда он был в Орде и там должен был бороться против происков своего врага, Юрия Звенигородского, то в этом деле много помог ему московский боярин Иван Дмитриевич Всеволожский, который ловкой лестью хану способствовал неопытному еще тогда Василию Васильевичу удержать за собою первенство между удельными князьями, именно звание старейшего или великого князя, чего особенно добивался его звенигородский противник. За эту услугу молодой московский князь обещал Всеволожскому жениться на его дочери. Но Софья Витовтовна не позволила этого сыну. Она настояла на том, чтобы великий князь женился на княжне Марье Ярославне, внучке князя Владимира Андреевича. Всеволожский, обиженный этим, перешел на сторону врага великого князя, Юрия, и тем увеличил собою число противников Москвы.

Но оригинальный случай на свадьбе великого князя стал поводом к тому, что вражда между московским князем и Юрием возгорелась с особенной силой и сделала противников смертельными врагами друг другу.

Когда вражда эта еще не превратилась в открытую борьбу, на свадьбе молодого московского князя пировали сыновья Юрия, знаменитые Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Косой приехал на свадьбу в богатом золотом поясе, усаженном дорогими камнями. Один из старых бояр, бывших тоже на свадьбе, рассказал Софье Витовтовне и другим гостям историю этого замечательного пояса. Пояс этот дан был суздальским князем Дмитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокией, когда она выходила замуж за Дмитрия Донского. Следовательно, пояс переходил, таким образом, в род московских князей. Тысяцкий Василий Вельяминов, бывший последним на Руси тысяцким в том важном значении, какое в древности соединялось в русской земле с этим званием, и, по обычаю времени, игравший первую распорядительную роль на княжеской свадьбе, похитил этот пояс и подменил его другим, гораздо меньшей ценности, а настоящий отдал своему сыну Николаю, за которым была другая дочь князя Дмитрия Константиновича суздальского – Марья. Николай Вельяминов, с своей стороны, отдал знаменитый пояс за дочерью, которая вышла за боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского, того самого, которого так обидел великий князь, не сдержав слова

относительно женитьбы на его дочери. Всеволожский отдал пояс за своею дочерью, выходявшей замуж за князя Андрея, сына Владимира Андреевича, а по смерти Андрея, обручив его дочь, а свою внучку, за Косого, подарил ему и исторический пояс, в котором Косой и явился на великокняжескую свадьбу.

Узнав историю пояса, Софья Витовтовна признала эту драгоценность родовой собственностью московских князей, и публично сняла пояс с Косого. Оскорбленные братья – Косой и Шемяка – тотчас оставили свадьбу и уехали к отцу.

Пояс, таким образом, стал поводом к страшной войне, продолжавшейся более тринадцати лет (1433–1446) и долго державшей смуту и усобицу во всей Русской земле. Много поплатились в эту войну и Софья Витовтовна, и ее сын, Василий Васильевич, потерявший было великое княжение, все свои земли, и, наконец, ослепленный.

Не будем останавливаться на подробностях той смуты, на удачах и неудачах той и другой стороны, потому что подробности эти не относятся непосредственно в нашему предмету. Скажем только, что московский великий князь был несколько раз побиваем наголову, попадал в плен и т. п. Но вот в феврале 1446 года, великий князь поехал к Троице молиться, а Софья Витовтовна с женою его Марьею Ярославною оставалась в Москве. Ночью 12-го февраля, Шемяка и Иван Андреевич Можайский напали на Москву, взяли в плен Софью Витовтовну и Марью Ярославну, город разграбили, и, узнав где великий князь, пошли к Троице. Василий Васильевич, услышав о нападении своих смертельных врагов, заперся в церкви, прикрылся образом, молил Шемяку о пощаде; но его взяли и самым зверским образом ослепили. Потом вместе с Марьею Ярославною великого князя сослали в Углич, а Софью Витовтовну в Чухлому. В удел же великому князю дали одну только Вологду.

Не будем касаться также обстоятельств, как счастье изменило Шемяке, как союзники отпали от него и пристали к слепому великому князю. Шемяка и князь Можайский, владевшие уже великокняжеским уделом, должны были бежать из Москвы к Галичу, оттуда в Чухлому, захватили там с собой Софью Витовтовну, как заложницу, и бежали в Каргополь. Слепой князь взял почти все города, отпавшие было к Шемяке, и из Ярославля послал к нему гонцов.

– Брат-князь Димитрий Юрьевич! – говорили от него посланцы Шемяке: – какая тебе честь или хвала держать в плену мать мою и твою тетку? Неужели ты хочешь этим отмстить мне? Я уже на своем столе, на великом княжении!

Шемяка стал думать с своим боярами.

– Братья! – говорил он: – что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегая, люди надобны мне самому, они уж и так истомлены, а тут еще ее надобно стеречь... Лучше отпустить ее.

Софью Витовтовну отпустили, и великий князь сам поехал навстречу матери.

В 1451 году, Софья Витовтовна, уже почти восьмидесятилетняя старуха, защищает Москву от татар! На Москву шел царевич Мазовша. Великий князь вышел было против татар, но узнав, что Мазовша уже около Оки, отступил, а за ним отступил и воевода Иван Звенигородский. Великий князь явился в Москву, велел укрепляться, а сам с сыном Иваном пошел к Волге. Софья Витовтовна должна была остаться в Москве с внуком Юрием, с боярами и митрополитом Ионой – это были защитники великокняжеского стола. Жenu Марью Ярославну и других детей великий князь отправил в Углич. 2 июля татары подошли к Москве и зажгли посады. Дым был такой, что ни москвичам не видно было татар, ни татары не видали Москвы, и только, когда сторели посады, дым прошел, москвичам стало виднее и можно было дышать. Они начали биться с осаждающими и отбили приступ. К утру вновь приготовили пушки, решаясь защищаться до последней возможности; но утром они уже не видали татар – татары исчезли. Софья Витовтовна тотчас послала сказать об этом сыну. Великий князь прибыл в Москву и нашел вокруг нее одни пепелища. Он, однако, утешал

москвичей: «эта беда на вас ради моих грехов; но вы не унывайте, ставьте хоромы по своим местам, а я рад вас жаловать и льготу давать».

Из всего здесь вкратце очерченного мы видим, таким образом, что к XV веку русская женщина начинает уже несколько выступать из своего тесно-замкнутого круга теремной и монастырской жизни, и её общественная деятельность, как деятельность Софьи Витовтовны, не проходит бесследно для истории. Но, быть может, начало этого явления следует искать в том, что Софья Витовтовна вышла из западной Руси, из Литвы, где близкое соседство с другими европейскими государствами и непосредственное соприкосновение с порядками Польши, с Ливонским орденом и даже с Чехией и Моравией могли скорее научить женщину самостоятельности и, расширив сферу ее воззрений, дать ей более почетное место на страницах истории.

И едва ли это последнее предположение не безосновательно, как мы увидим ниже при указании на значение Софьи Палеолог, Елены Ивановны, Елены Глинской и даже Марфы Посадницы, которая конечно не осталась свободною от влияния литовско-польская и отчасти немецкая, как гражданка торгового и вольная «Господина Великого Новгорода».

V. Марфа Борецкая, посадница Новгородская

Историческая роль Марфы Борецкой или – как привыкли её называть – Марфы Посадницы, неразрывно связана с историей падения политической автономии «Господина Великого Новгорода».

В то время, когда московский великий князь Иван Васильевич III доканчивал «собрание Русской земли» уничтожением последних самостоятельных уделов, Новгород не мог не чувствовать, что скоро должен был пробить последний час и его политической независимости. Час этот мог пробить еще при Василии Темном, если б смерть не помешала этому великому князю наложить руку на новгородские вольности, шедшие вразрез с идеей собирания Русской земли.

Предвидя этот неизбежный конец, новгородцы задумали отшатнуться от Москвы. Но так как они не могли самостоятельно существовать между двух сильных соседей – Москвы и Литвы, то они и решились прибегнуть под защиту последней и тем удержать в руках своих ускользавшее из них вечевое народоправство.

Этого особенно желала боярская партия, которая, пользуясь своими богатствами и властью, сделала из веча послушное для себя орудие, и куда хотела, туда и направляла народ, массу, этих «худых мужиков-вечников», т. е. все то, что носило громкое название «Господина Великого Новгорода». Задуманное втайне обращение к Литве произвело, – говорит летописец, – «нестроение в граде: овии из граждан прилежаху по древнему преданию русским царям, вельможи же града вси и старейшины хотяху латыни приложитися и сих кралю повиноватися». В голове последней партии, которая и названа была «стороною литовскою», стояла фамилия бояр Борецких, собственно боярыня Марфа, вдова умершего «степенного посадника» Исаака Борецкого, и дети ее Федор и Димитрий. Женщина эта, по-видимому, обладала замечательными дарованиями, а потому, при своем богатстве и при том моральном весе, какой вообще имела вдова мать на своих сыновей, Марфа Борецкая в течение нескольких лет заправляла «Господином Великим Новгородом», пока не лишилась свободы вместе с своим родным городом. Можно смело и безошибочно сказать, что Новгород еще долго в состоянии был бы продержаться, сохраняя свои вольности, свой суд, свой народный собрания на вече и свой знаменитый вечевой колокол, если б в судьбу его не замешалось честолюбие женщины, надевавшейся иметь жениха в богатом и знатном пане литовском и через него стать наместницей или правительницей самостоятельного Новгорода и не взвесившей

при этом ни своих сил, ни сил противника, не исследовавшей почвы, на которой можно было бы построить автономию Новгорода под боком у Москвы.

Недовольство Москвы Новгородом зрело долго. Новгородцы, подкрепляясь надеждою на Литву, подстрекаемые сторонниками Марфы Борецкой, начали небрежно относиться к исполнению своих обязанностей по отношению к Москве, утаивать часть пошлин, которые следовали московскому великому князю, захватывать земли, отошедшие от новгородских владений в пользу Москвы. Новгородцы неуважительно относились к послам и наместникам великого князя; не редко «худые мужики-вечники», уверенные в поддержке веча и надеясь на казну Марфы Борецкой, шумели не только в городе, но и на городище, где был великокняжеский двор, в котором жили московские наместники; новгородская вольница нападала даже на московская волости.

Москва это видела, но до поры терпела, потому что у нее было «розратье» с соседями, нелады с татарами. Великий князь однако не раз посылал сказать Новгороду, чтоб «отчина его исправилась, жила бы по старине» – намек на литовские замыслы. Но отчина его не исправлялась.

До великого князя дошло известие, что Новгород не пропустил послов псковских, которые ехали в Москву. Он показал псковичам вид, что не верит такой клевете на Новгород.

– Как это вы побоялись моей отчины, Великого Новгорода? – с удивлением спросил великий князь псковского гонца, привезшего весть об этом: – как новгородцам не пропустить ваших послов ко мне, когда они у меня в крестном целовании?

Но и тут великий князь подавил в себе гнев на новгородцев – смолчал.

Через несколько времени новгородцы прислали в Москву послом посадника Ананьина, сторонника Марфы Борецкой. Во время переговоров по своему посольскому делу, Ананьин ни разу не упоминал о том, в чем новгородцы провинились перед Москвой. Бояре напомнили ему об этом.

– Великий Новгород об этом не мне приказал, – был ответ Ананьина.

Такая «грубость» посла взорвала великого князя, но он и тут сдержался, а только через Ананьина же сказал новгородцам:

– Исправьтесь, отчина моя, сознайтесь; в земли и воды мои не вступайтесь, имя мое держите честно и грозно по старине; ко мне посылайте бить челом по докончанию, а я вас, свою отчину, жаловать хочу и в старине держу.

Но тут же, задумав уже об усмирении Новгорода мечом, велел сказать Пскову:

– Если Великий Новгород не добьет мне челом о моих старинах, то отчина моя Псков послужил бы мне, великому князю, на Великий Новгород за мои старины.

Но и Марфа Борецкая искала уже себе союзников. Ей нужно было показать великому князю, что и Новгород не беззащитен, и потому тон речей Москвы мог бы быть и умереннее. Новгородцы обратились к Литве, откуда король Казимир и выслал для них князя-наместника Михайлу Олельковича. Олелькович прибыл в Новгород с многочисленной свитой; с большими почестями был принят новгородцами и зажил в Новгороде бок-о-бок с наместником московским, которого новгородцы не выгнали однако, «не показали пути» по старине.

За несколько дней до этого умер новгородский владыка Иона, и нужно было избрать ему преемника. Избрание производилось на вече, у святой Софии. На престол положены были три жребия – Варсонофия, Пимена и Феофила. Стали вынимать жребии, и вынул жребий Феофила. Феофил, по старине, должен был ехать в Москву на ставленье.

Марфа Борецкая была недовольна этим избранием, потому что Феофил оказался приверженцем старины и Москвы. Надо было подыскать сторонника нового движения, литовского, и таким сторонником явился Пимен, жребий которого не вынул.

– Хотя на Киев меня пошлите, я и туда на свое поставление поеду, – сказал Пимен литовской партии.

Так как Пимен был архиепископским ризничим и следовательно богатая церковная казна находилась у него в руках, то он прибег к подкупу. Борецкая, располагая своими собственными богатствами и получив от Пимена значительные суммы из архиепископской кассы, подобрала себе сильную партию на вече; но это, с другой стороны, и погубило Пимена: за расхищение церковной казны новгородцы московской партии схватили его и казнили; имущество же его разграбили.

Послам, отправленным в Москву от нового архиепископа, Иван Васильевич сказал:

– Отчина моя, Великий Новгород, прислал ко мне бить челом, и я его жалую: нареченному владыке Феофилу велю быть у себя и у митрополита для поставления без всяких зацепок, по прежнему обычаю, как были при отце моем, деде и прадедах.

Новгород сошелся на вече. В это время пришли послы из Пскова.

– Нас великий князь, а наш государь, поднимаешь на вас, – говорили псковские послы: – от вас же, своей отчины, челобитья хочет. Если вам будет надобно, то мы за вас, свою братью, ради отправить посла к великому князю бить челом о миродокончальной с вами грамоте: так вы бы послам нашим дали путь по своей вотчине к великому князю.

Услыхав неожиданно такие слова, вече зашумело: оно в первый раз узнало, что Иван Васильевич поднимаешь уже Псков на Новгород.

– Не хотим за великого князя московского! Не хотим называться его отчиною: мы люди вольные, – кричала партия, давно недовольная Москвою и разожженная деньгами и нашептываньями Борецкой: – не хотим терпеть от Москвы – хотим за короля Казимира! Московский князь присылает опасную грамоту нареченному владыке, а меж тем поднимает на нас псковичей и сам хочет идти!

– Хотим по старине: к Москве, – кричала московская партия: – нельзя нам отдаться за короля и поставить владыкой у себя от митрополита латынца!

«Худые мужики-вечники» ударили в колокола.

– Хотим за короля! – кричала толпа.

В приверженцев Москвы бросали камнями. Бурное вече кончилось тем, что пария Марфы пересилила, и решено было послать к королю. Послы тотчас же отправились.

А псковским послам Новгород сказал:

– Вашего посла к великому князю не хотим поднимать и сами ему челом бить не хотим; а вы бы за нас против великого князя на коня сели, по своему с нами миродокончанью.

Псков на это отвечал: «Как вам великий князь отошлет складную грамоту (т. е. разрыв, объявление войны), то объявите нам, мы тогда, подумавши, ответим».

Но Псков обманул своего «брата старейшего – Новгород, как его тогда называли официально. За то Казимир охотно вошел в союз с Новгородом – «вольными мужами», и в договоре с ними постановил: король держит на городище, в Новгороде, наместника веры греческой, православного христианства. Наместник, дворецкий и тиуны королевские, живя в городище, имеют при себе не более пятидесяти человек. Пойдет великий князь московский на Великий Новгород, или сын его, или брат, или которую землю поднимет на Великий Новгород, то король садится на коня за Новгород со всею радою литовскою; если же король, не помилив Новгород с московским князем, пойдет в польскую землю или немецкую, и без него пойдет Москва на Новгород, то рада литовская садится на коня и обороняет Новгород. Король не отнимает у новгородцев их веры греческой православной, и где будет любо Великому Новгороду, тут и поставить себе владыку. Римских церквей король не ставит ни в Новгороде, ни в пригородах, ни по всей земле новгородской. Что в Пскове суд, печать и земли Великого Новгорода, то к Великому Новгороду по старине. Если король помирит Новгород с московским князем, то возьмет черный бор по новгородским волостям, один раз, по старым грамотам, а иные годы черного бору ему не надобно. [Бор черный слово «бор» вообще означало в Древней Руси побор, подать, черным же он назывался, потому что собирался в пользу

великого князя и притом только в Новгородской земле, с черных людей. По недостатку летописных и других указаний на этот бор нельзя сказать, когда и как установился он и все ли новгородские (собственно) волости платили его, постоянный ли он был или временный и как изменялись условия этого побора.]

Король держит Новгород в воле мужей вольных, по их старине и по крестной грамоте, целует крест ко всему Великому Новгороду за все свое княжество и за всю раду литовскую.

Честолюбивая Борецкая могла теперь надеяться иметь и наместника и жениха, несмотря на то, что у нее самой уже были дети и внуки, из которых первые сами уже состояли в должностях степенных посадников! Но она забыла свои лета для Великого Новгорода.

Москва и после всего этого, как говорит летописец, не села на коня. Великий князь снова отправил к новгородцам посла о добрыми речами и с милостью, лишь бы одумался Новгород.

– Отчина бы моя, новгородцы, – говорил Иван Васильевич через посла, – от православия не отступали, лихую мысль из сердца выкинули, к латынству не приставали, и мне бы, великому князю, челом били да исправились, а я, великий государь, жалую вас и в старине держу.

Московский митрополит Филипп с своей стороны послал увещание детям своим, «мужам вольным» – новгородцам.

– «Сами знаете, дети (писал он), с какого времени господари православные, великие князья русские начались: начались они с великого князя Владимира, продолжаются до нынешнего Ивана Васильевича. Они господари христианские русские и ваши господа, отчичи и дедичи, а вы их отчина из старины, мужи вольные. Господин и сын мой князь великий сказывает, что жаловал вас и в старине держал, и вперед жаловать хочет, а вы, сказывает, своих обещаний ему не исполняете. Ваши лиходеи наговаривают вам на великого князя: «Опасную-то грамоту он владыке нареченному дал, а меж тем псковичей на нас поднимает и сам хочет на нас идти». Дети! такие мысли враг-дьявол вкладывает людям: князь великий еще до смерти владыки и до вашего челобитья об опасной грамоте послал сказать псковичам, чтобы они были готовы идти на вас, если вы не исправитесь; а когда вы прислали челобитье, так и его жалованье к вам тотчас пошло. И о том, дети, подумайте: царствующий град Константинополь до тех пор непоколебимо стоял, пока соблюдал православие, а когда оставил истину, то и впал в руки поганых. Сколько лет ваши прадеды своей старины держались неотступно; а вы, при конце последнего времени, когда человеку нужно душу свою спасать в православии, вы теперь, оставя старину, хотите за латинского господаря закладываться! Много у вас людей молодых, которые еще не навыкли доброй старине, как стоять и побороть по благочестии, а иные, оставшись по смерти отцов не наказанными, как жить в благочестии, собираются в сонмы и поощряют на земское неустроение (намек на молодых детей Марфы Борецкой). А вы, сыны православные, старые посадники новгородские и тысяцкие. и бояре, и купцы, и весь Великий Новгород, сами остерегитесь, старые молодых понаучите, лихих удержите от злого начинания, чтоб не было у вас латинские похвальбы на веру православных людей».

Но было уже поздно: молодых и старых – всех увлекла честолюбивая женщина и вольность новгородская.

Москва, наконец, села на коня. В мае 1471-го года сам великий князь выехал с войском, отправив в Новгород «разметные грамоты» – объявление войны. За великим князем следовали выступившие из разных мест со своими ратями удельные князья и воеводы братья великого князя – Юрий, Андрей Меньшой и Борис, князь верейский с сыном, татарский служилый царевич Даныяр, воеводы: князь Холмский, боярин Федор Давыдович, князь Оболенский-Стрига. Нуждаясь в знатоке летописей, великий князь выпросил у своей матери такого знатока в лице ее дядка Степана Бородатого, который бы, в случай нужды, мог – по выра-

жению современника – «воротити летописцем», т. е. когда явятся новгородские послы, то Степан «ворочая летописцем», мог бы подыскивать в нем все необходимое для напоминания новгородцам об их старых изменах, как изменяли они и в давние времена отцам, дедам и прадедам.

В Псков и в Вятку посланы были приказы садиться на коней и йдти на Новгород. У Твери великий князь просил помощи.

Со всех сторон нагрянули войска великого князя на новгородские земли. Воеводам велено было распустить ратных людей во все места – жечь, пленять и казнить без милости все население мятежников.

Великий Новгород остался без союзников. К великому князю помощь шла со всех концов русской земли; к Новгороду же – ни откуда. Своих собственных сил было немного и Новгород к войне не приготовился. Олелькович, наместник Новгорода с литовской стороны, обещавший высватать для вдовы Борецкой одного из панов литовских, который мог бы быть союзником Новгороду, обманул и Борецкую, и Новгород, и еще раньше «розратья» Новгорода с Москвой бежал в Киев, на пути ограбил один из новгородских пригородов – Русу, и пограбил все места, по которым бежал, до самой границы. Послали просить помощи у Казимира – помощь не шла. Просили помощи у Ливонского Ордена и ливонский магистр сносился с великим магистром в том смысле, что помощь эта очень нужна, что московский князь, поработив Новгород, станет страшен и для ордена, – но все-таки помощь и оттуда не пришла.

Новгород оставался при своих собственных силах, да и те тянули под разными углами. Конные спорили с пешими: первые были – владычный полк, не смевшей без благословения владыки Феофила – московской руки – поднять руку на великокняжеские рати; пешие были бессильны. Воевод хороших не было. Борецкая дала в воеводы своего сына степенного посадчика Дмитрия Борецкаго – но этого было мало. Честолюбивая Марфа по-видимому не обдумала затеянной ею игры – игра шла на риск. Служилый новгородский князь, потомок Рюрика, Василий Щуйский-Гребенка, послан был новгородцами на защиту Заволочья. Как бы то ни было, новгородские рати двинулись против московских. Первые две битвы были не в пользу новгородцев: князь Холмский разбил их у Коростыни и на реке Поле; Русу сжег.

Псковичи, по-видимому, колебались, не зная чью руку держать и чья сторона возьмет верх – московская или новгородская.

– Как только услышим великого князя в Новгородской земле, так и сядем на коней за своего государя, – отвечали они московскому послу.

Но на коней не садились. Прискакал от великого князя боярин Зиновьев, торопил псковичей – они все не шли.

– Садитесь сейчас же со мною на коней, – твердил Зиновьев каждый день Пскову: – я к вам отпущен от великого князя – воеводою приехал.

Ничто не помогало. Только тогда Псков сел на коня, когда новгородцы уже не раз были побиты. Псковская рать выступила под начальством четырнадцати посадников, с воеводою князем Василием Шуйским, сыном псковского князя наместника. Псковичи двинулись к Шелони. Новгородцы поторопились собрать новые силы под начальство сына Борецкой Дмитрия. Говорят, что сторонники Марфы силой сгоняли народ в войско, а кто не шел охотою, их били, грабили, топили в Волхове – любимая казнь новгородцев. Силой нагнали до сорока тысяч войска, но в этих сорока тысячах было много тысяч вечевых крикунов, «препростой чади», «изорников», «худых мужиков вечников», плотников, гончаров и всякого неопытного люда, никогда не сядившегося на коня.

Надо было перевстретить и разбить псковские рати на Шелони, чтоб не дать им соединиться с московским войском. Но не псковские рати ожидали на Шелони сына Марфы Посадницы. Там уже был князь Холмский с четырьмя тысячами великокняжеских ратников

и даньяровых татар. Войска встретились – их разделяла река. «Новгородцы, – говорит летописец – по оной стране реки Шелони ездяще, и гордящиеся, и словеса хульные износяще на воевод великого князя, еще окаянные и на самого государя великого князя словеса некие хульные глаголаху, яко пси лаяху».

Здесь-то произошла знаменитая «Шелонская битва», решившая судьбу «Господина Великого Новгорода» и его старой посадницы Марфы Борецкой. Московская рать перешла Шелонь и ударила на новгородцев. Говорят, что последние откинули москвичей за реку, но там они наткнулись на западную татарскую, которой не ожидали. Засадная рать решила дело. Двенадцать тысяч новгородцев было убито и тысяча семьсот взято в плен. Сын Марфы также был взят с прочими воеводами. Захвачен был обоз, и там москвичи нашли договорную грамоту Новгорода с королем Казимиром.

На и после этого поражения Новгород не смирился. Там еще сидела Марфа Борецкая, сын которой находился в плену у Москвы – обида очень тяжелая. Борецкая надеялась на Казимира. Посол, однако, поскакавший в Литву, не был пропущен через владения ливонских рыцарей. В Новгороде вспыхнул бунт, но при всем том новгородцы партии Борецкой готовились защищать свой город, и казнили Упадыша, заколачивавшего новгородские пушки железом.

С своей стороны Иван Васильевич велел казнить сына Борецкой, военнопленного воеводу Димитрия.

Прошло несколько дней – и в Новгороде уже есть было нечего: так дурно Борецкая и ее сторонники приготовились к войне. В этих стесненных обстоятельствах Новгороду ничего более не оставалось, как покориться победителю.

Великий князь дал мир покорившемуся Новгороду, но за военный издержки, за новгородскую «проступку» и за «грубость» взял 15,500 рублей: контрибуция, по тогдашнему счету, неслыханная.

Но покорность Новгорода была только видимая. Там оставалась еще Борецкая, голова сына которой пошла в счет контрибуции; там оставалась еще вся литовская партия, которая мало того, что не выносила московского владычества, но упорно искала мести, отплаты за унижение, за контрибуцию, за убитых и казненных новгородских вельмож с молодым Борецким. Смуты в городе не унимались, а так как литовская сторона стояла в голове управления новгородского, то бояре и мстили в самом городе свою обиду на приверженцах Москвы: так они разграбили несколько улиц в Новгороде, и это послужило поводом ко второму наказанию беспокойных новгородцев.

Обиженные жаловались великому князю. В октябре 1475 года он направил свой путь на беспокойную вотчину, чтоб снова напомнить ей, что имя его новгородцы должны держать «честно и грозно». Последним сопротивляться было невозможно, и вот послы провинившаяся города, посадники, бояре и владыка Феофил явились к великому князю, бывшему уже на городище, с повинною. Иван Васильевич не принял челобитчиков.

– Известно тебе, богомольцу нашему, и всему Новгороду, отчине нашей, – говорил он владыке новгородскому, – сколько от этих бояр и прежде зла было, а нынче что ни есть дурного в нашей отчине – все от них: так как же мне их за это дурное жаловать?

Посадник Ананьин и несколько из его товарищей были закованы в цепи и отправлены в Москву.

После этого великий князь снова простил новгородцев, взял большой окуп с виновных, пировал у всех знатных вельмож, и отъехал прочь.

Но вечевой колокол еще висел в Новгороде и Марфа Борецкая не оставляла своих честолюбивых замыслов.

Следующее недоразумение, а может быть и хитрость врагов Борецкой погубили Новгород окончательно. В Москву приехали из Новгорода послы и в челобитье своем назвали

великого князя «государем», чего прежде никогда не было, потому что «Господин Великий Новгород относился к московскому князю как к равному и называл его только «господином». Тогда из Москвы явились великокняжеские послы и спросили новгородцев:

– Какого вы хотите государства? Хотите ли, чтоб у вас был один суд государя, чтобы тиуны его сидели по всем улицам, и хотите ли двор Ярославов очистить для великого князя?

Новгород заволновался – он никого не уполномочивал называть великого князя «государем». Начался мятеж. Посадников и бояр пограбили, и требовали веча, Привели и поставили перед народом одного боярина, Василия Никифорова, который будто бы присягнул на Москве служить великому князю.

– Переветник! был ты у великого князя и целовал ему крест на нас? – кричало вече.

– Целовал я крест великому князю в том, что буду служить ему правдою и добра ему хотеть, а не целовал я креста на государя своего Великий Новгород и на вас, своих господ и братьев! – оправдывался боярин.

Боярин был изрублен топорами на части. Побили и других бояр, но с московскими послами обошлись милостиво и с честью отпустили их.

– Вам, своим господам, челом бьем, но государями вас не зовем, – говорили новгородцы этим послам: – суд вашим наместникам на городище по старине, а тиунам вашим у нас не быть, и двора Ярославова не даем: хотим с вами жить как договорились в последний раз на Коростыни. Кто же взялся без нашего ведома иначе сделать, тех казните как сами знаете, а мы здесь будем их также казнить, кого поймаем.

Доложили об этом великому князю на Москве. Он порешил бесповоротно покончить с Новгородом.

– Я не хотел у них государства, – говорил он митрополиту, матери, братьям, боярам, воеводам: – сами присылали, а теперь запираются, и на нас ложь положили.

Он велел готовить рати. Рати выступили и немедленно стали опустошать, новгородские земли. Сам Иван Васильевич выехал к войску в октябре, а в 30 верстах от Новгорода, на Сытине, 23 ноября явилось к нему новгородское посольство с челобитьем и повинною. Посольство было многочисленное.

– Господин государь князь Великий Иван Васильевич всея России! – говорил владыка Феофил от имени всей новгородской земли: – положил ты гнев свой на отчину свою, на Великий Новгород, меч твой и огонь ходит по новгородской земле, кровь христианская льется. Смилуйся над отчиною своею, меч уйми, огонь утоли, чтобы кровь христианская не лилась – господин государь, пожалуй! Да положил ты опалу на бояр новгородских и свел их на Москву в свой первый приезд: смилуйся, отпусти их в свою отчину, в Новгород Великий.

Ни слова не отвечал великий князь послам, а только позвал их обедать.

На другой день начались переговоры. Новгородцы упрямылись, отстаивали тень своей самобытности, предлагали то, что великому князю не нравилось.

Великий князь велел войскам пододвигаться к Новгороду. Москвичи заняли городище и подгородские монастыри.

– Сами вы знаете, – велел после того Иван Васильевич сказать послам новгородским: – что посылали к нам Назара Подвойского и Захара вечегово дьяка, и назвали нас, великих князей, себе государями. Мы, великие князья, по вашей присылке и челобитью, послали бояр спросить вас: какого нашего государства хотите? И вы заперлись, что послов с тем не посылали, и говорили, что мы вас притесняем. Да кроме того, что вы объявили нас лжецами, много и других ваших к нам неисправлений и нечестия. Мы сперва поудержались, ожидая вашего исправления, посылали к вам с увещиванием, но вы не послушались, и потому стали нам, как чужие. Вы теперь завели речь о боярах новгородских, на которых я положил опалу, просили, чтобы я их пожаловал и отпустил, но вы хорошо знаете, что на них бил мне челом весь Великий Новгород, как на грабителей, проливавших кровь христи-

анскую. Я, обыскавши владыкою, посадниками и всем Новгородом, нашел, что много зла делается от них нашей отчине, и хотел их казнить; но ты же, владыка, и вы, наша отчина, просили меня за них, и я их пожаловал, казнить не велел, а теперь вы о тех же виноватых речь вставляете, чего вам делать не годилось, и после того как нам вас жаловать? Князь великий вам говорит: захочет Великий Новгород бить нам челом, и он знает, как ему нам, великим князьям, челом бить.

Что делала в это время Марфа Борецкая, главная виновница всего зла новгородского – неизвестно. Знаем только, что когда шли эти переговоры с новгородскими послами, новгородцы еще не бросили оружия, а крепко осели как за заборами городскими, так и за деревянной стеною, которую они успели возвести по обеим сторонам Волхова и перекинули даже через реку на судах.

Москва стала томить Великий Новгород голодом. Снова город разделился за Москву и за Литву. Снова явилось в московском стане новгородское посольство челом бить, просить жалованья, но не пощады.

– Захочет наша отчина бить нам челом, и она знает, как бить челом! – снова услышали послы тоже непреклонное слово из уст московского князя.

Послы воротились и потом опять пришли. Надо было виниться, признаваться, что Новгород действительно отправлял в Москву посольство называть великого князя «государем», а после заперся.

– Если так, – велел отвечать великий князь послам: – если вы, владыка и вся наша отчина Великий Новгород сказались перед нами виноватыми, и спрашиваете, как нашему государству быть в нашей отчине, Новгороде, то объявляем, что хотим такого же государства нашего и в Новгороде, какое в Москве.

Послы просили позволить им подумать со всем Новгородом. Им дали два дня думать.

И вот новое посольство, новые просьбы, новые условия – это были предсмертные конвульсии «Господина Великого Новгорода».

– Сказано вам, что хотим государства в Великом Новгороде такого же, какое у нас государство в низовой земле на Москве; а вы теперь сами мне указываете, как нашему государству у вас быть: какое же после этого будет мое государство? – был ответ Ивана Васильевича.

– Мы не указываем и государству великих князей урока не кладем, – твердили послы: – но пожаловали бы государи свою отчину, объявили Великому Новгороду, как их государству в нем быть, потому что Великий Новгород низового обычая не знает, – не знает, как наши государи великие князья держат свое государство в низовой земле.

– Государство наше таково, – отвечал великий князь решительно: – вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство всё нам держать; волостями, селами нам владеть, как владеем в низовой земле, чтоб было на чем нам быть в нашей отчине, а которые земли наши за вами, вы и их нам отдайте. Вывода не бойтесь, в боярские вотчины не вступаемся, а суду быть по старине, как в земле суд стоит.

Посольство отпустили. Новгород видел, что и последняя тень вольности убегает от него: все было бессильно – и король Казимир, покинувший их, и Марфа Борецкая, около которой кружок приверженцев не умаялся; но живучесть умиравшего города была велика и умирать не хотелось.

Согласившись на всё, новгородцы просили только великого князя целовать крест Великому Новгороду.

– Не быть моему целованью! – был ответ.

Просили, чтоб бояре целовали крест.

– Не быть!

Просили, чтоб хоть великокняжеский наместник целовал этот крест.

– Не быть!

Просили, наконец, чтоб их отпустили в город еще подумать.

– И этому не быть!

Во всем отказано.

– Если государь не жалует, креста не целует и опасной грамоты нам не дает, – молили новгородские послы бояр: – то пусть объявить нам свое жалованье, без боярских высылков (потому что великий князь высылал бояр говорить с посольством).

– Просили вы, чтоб вывода, позыва на суд и службы в низовую землю не было, чтоб я в имения и отчины людские не вступался и чтоб суд был по старине: всем этим я вас, свою отчину, жалую.

Послы откланялись. Их нагнали бояре.

– Великий князь велел вам сказать, – говорили бояре: – Великий Новгород должен дать нам волости и села – без того нам нельзя держать государства своего в Великом Новгороде.

– Скажем об этом Новгороде, – отвечали послы.

Через две недели часть Новгорода присягала великому князю. Присягнувшие бояре, купцы и жилые люди просили московских бояр, чтоб великий князь сказал им «вслух», т. е. не через бояр, милостивое слово. И великий князь пожаловал этим словом владыку и прочих:

– Даст Бог, вперед тебя, своего богомольца, и отчину нашу, Великий Новгород, хотим жаловать.

Из московского стана приехал в Новгород любимец великого князя, ближний боярин знаменитый князь Иван Юрьевич Патрикеев, потомок Гедимины, и велел созвать новгородцев. Но уже собрание было не на площади, а в палате: новгородское вече, стоявшее непоколебимо от Рюрика и до Рюрика, уже не существовало!

– Князь великий Иван Васильевич всея Руси, государь наш, – говорил он, обращаясь к владыке и к Новгороду, – тебе своему богомольцу владыке и своей отчине Великому Новгороду говорит так; ты, наш богомолец, и вся наша отчина, Великий Новгород, били челом нашим братьям, чтоб я пожаловал, смиловался, нелюбье с сердца сложил: и я, великий князь, для братьев своих, пожаловал вас, нелюбье отложил. И ты бы, богомолец наш, и отчина ваша, на чем добились нам челом, и грамоту записали, и крест целовали, – то бы все исполняли; а мы вас вперед хотим жаловать по вашему исправлению в нас.

Это было последнее слово великого князя «Господину Великому Новгороду».

Началась общая присяга на владычном дворе и по всем концам. Присягали все, не исключая жен. Новгородская покорная грамота укреплена была 58 печатями. Через два дня после присяги, новгородские бояре, боярские дети и жилые люди поступили на службу московскому князю.

20 января 1478 года великий князь отправил в Москву грамоту с извещением, что великий князь отчину свою Великий Новгород привел во всю свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве.

Явились в Новгород великокняжеские наместники – два брата князей Оболенских – Иван Стрига и Ярослав. Потом прислали еще двух. Наместники заняли Ярославов двор.

В это время в Новгороде был мор и великий князь в городе не жил, оставаясь в стане, и только два раза приезжал слушать обедню у святой Софьи, – патрона Великого Новгорода.

17 февраля великий князь выехал в Москву. Перед его отъездом велено было схватить Марфу Борецкую, ее внука Василия, сына Федора Исааковича и еще нескольких новгородцев. Имение их было отобрано в казну, а сами они отвезены были в Москву.

Сняли вечевой колокол и тоже повезли на Москву вслед за великим князем. А в Москве, – говорит летописец, – «вознесоша вечевой колокол на колокольницу вместе с прочими колоколами звоните».

Говорят, что он звонит и до сих пор.

VI. Софья Палеолог

Софья Палеолог была второй супругой великого князя Ивана Васильевича III. Первой его женой была дочь великого князя тверского, Бориса, Марья Борисовна, на которой Иван Васильевич женат был еще при жизни своего отца, в очень молодых годах. Брак этот состоялся по особым политическим соображениям, так как Тверь всегда была во вражде с Москвою; но Марья Борисовна жила недолго. В 1467 году великий князь уже овдовел, и в Москве ходил слух, что покойная княгиня была отравлена или изведена чародейством, которому в то время все верили. Признаки чародейной отравы видели в том, что тело умершей сильно распухло, так что покров, под которым она лежала, сначала был до того велик, что свешивался по краям, а вскоре потом не мог прикрывать распухшего тела покойницы. Говорили, что одна из женщин, бывших при княгине, Наталья Полуехтова, с целями чародеяния посылала пояс княгини к ворожее и что посредством этих чар и изведена была Марья Борисовна. Как бы то ни было, но Иван Васильевич был потом сердит на Полуехтову и на ее мужа Алексея, и целых шесть лет не пускал его к себе на глаза.

Меньше чем через два года после смерти Марьи Борисовны великий князь задумал вновь жениться. К этому представился очень благоприятный случай. В 1469 году приехал к великому князю грек Юрий с письмом от римского кардинала Виссариона, который предлагал Ивану Васильевичу руку греческой царевны Софьи Палеолог.

Царевна Софья была дочь Фомы Палеолога. Этот Фома Палеолог, после падения Византии, когда брат его, последний византийский император из дома Палеологов, Константин, погиб на стенах своей столицы, искал со своим семейством убежища в Риме, где он уже имел родственные связи, потому что женат был на дочери герцога Феррарского. Следовательно, Софья Палеолог была гречанкой по отцу и итальянкой по матери. Софья, после смерти Фомы Палеолога, осталась с двумя братьями. Папа Павел II принял молодую царевну под свое покровительство, конечно с целями воспользоваться ею в видах распространения своего духовного владычества и на того государя, с которым, как он справедливо мог надеяться, Софья соединить свою судьбу. Ничего лучше нельзя было желать для папы, как распространить свою власть на обширные земли вновь восходившего на востоке сильного светила – царства московского, на которое римские первосвященники уже несколько столетий смотрели с завистью, и потому самым подходящим для этого орудием папа признал молодую царевну, которой мать была католичка по рождению; да и сама она, прожив несколько лет в Риме, не могла не подпасть под некоторое влияние искусной католической пропаганды, хотя и была рождена и воспитана сначала в греческой вере. Нужно было для этого во что бы то ни стало выдать Софью за московского великого князя, и потому папа для переговоров с ним избрал посредником кардинала Виссариона, бывшего греческим митрополитом, подписавшим в числе других духовных представителей восточной церкви, флорентинскую унию. Предлагая Софью в замужество великому князю, кардинал Виссарион между прочим сообщил Ивану Васильевичу, что царевна из ревности к греческой вере отказала уже двум женихам, французскому королю и медиоланскому герцогу.

Иван Васильевич, говорит летописец, взял эти слова в мысль и, посоветовавшись с митрополитом Филиппом, с боярами, в марте же месяце отправил в Рим посла Ивана Фрязина, выходца из Италии, служившего при великом князе монетным мастером.

Фрязин оказался хорошим сватом, как для той, так и для другой стороны. С одной стороны папе хотелось приобрести в великом князе московском сильного союзника против страшных турок, которые в то время уже ступили своей тяжелой пятою на европейский материк, раздавив этою пятою древнюю и славную некогда Восточную или Византийско-Римскую империю, затем при посредстве Софьи и своих легатов, воздействовать на Ивана Василье-

вича к восстановлению флорентийской унии. Вообще планы папы в этом отношении могли быть очень широкими и надежды очень радужными, притом же, по-видимому, и сбыточными. С другой стороны, московский князь, уже ощущавший под собою почву самодержавия, так как прежние уделы почти не существовали, а Тверь, Новгород, Псков и даже Орда начинали уже чувствовать тяжелую руку «московского господаря», искал более прочного укрепления в умах идеи самодержавия, а это укрепление возможно было в перенесении московским князем на свою особу нравственного наследия византийской империи: это наследие могло принести с собою представительница императорского рода в Византии, утратившего свою империю. Идея византийской империи, таким образом, как бы переносилась на Москву, на плечи московского самодержавного князя.

Фрязин, как ловкий проходимец, которому, однако в Риме охотно верили, быстро выполнил свое посольство и воротился в Москву с портретом царевны, а равно с «опасными» (проезжими, пропускными) грамотами от папы для беспрепятственного следования по всем католическим землям московских послов в Рим за царвною и обратно, когда будет совершен обряд обручения, хотя бы заочного.

Вскоре в Рим отправлено было посольство за невестой, и Фрязин назначен был от великого князя представлять лицо жениха при церемонии обручения, как это водилось в то время и как это мы увидим ниже, при обручении дочери Ивана Васильевича, Елены, вышедшей замуж за князя литовского Александра.

В июне 1472 года царевна выехала из Рима. Ее сопровождал кардинал Антоний и немалое число греков. Ехала она морем и вступила на русскую землю выше Пскова.

Вот любопытное описание, по летописцу, встречи, которую приготовили царевне псковичи:

«Октября в 1 день пригна во Псков гонцем Николай Лях от моря из Колывани, а повестуя Пскову:

«Царевна, переехав море, да едет на Москву, дщи Фомина князя аморейского, а царградского царя Константинова и Калужанова братана, а внука. Иоана Палеологова, а князя Василья Дмитреевича зятя, нарицаемая София: сия вам будет государыня, а великому князю Ивану Васильевичу жена и княгиня великая. И вы бы есте ея, сустревше, приняли честно».

«И того же дни сам поеха к Новугороду Великому, а оттоле на Москву.

«И оттоле, — говорит летописец, — псковичи начата мед сытити и корм сбирати, и послаша гонцов своих нолна и до Кирьипиге, и посадников и бояр из концов в Изборск ея с честию стретити. И бывшим им тамо мало не с неделю, и се пригнаше гонец от нея из Юрьева на озеро в судах:

— «И вы бы есте ея сустретили в Измене» (объявил гонец).

«И псковичи в тыя часы шесть насадов (суда) уготоваша великих, и во всяком насаде посадники псковские и бояре и гребцы с великою честию поехали в субботу в 10 день, и приехали скоро пред обедом в неделю в 11 день на Измень, иже она только ни приезжает к берегу: бе бо там мало — несть тоя чести, яко же zde. И се вси шесть насадов и лодия многи, яко же езеру возмутитися, туто же начата к берегу приставати.

«И посадники псковские и бояре, вышедшие из насадов и наливши кубки и роги злащенья с медом и с вином, и пришедши к ней, челом удариша. Она же, приемши от них в честь и в любовь велику, и теми часы восхоте сама с Измены и до обеда в даль ехать, бе бо ей еще се хочет от немцев отъехать. И приемши ея посадник с тою же честию в насады, и ея приятелей (свиту), и казну, и на Скертове ночеваша и потом у святого Николы в Усехях другую ночь, и от святого же Николы с Устей, в 13 день, святых мученик Карпа и Памфила, приехали к пресвятой Богородицы, и пеша за нея игумен и с всеми старцы молебн.

«Она же оттоле, порты царския надевши, и поеха ко Пскову.

«Тако же и ту предо Псковом ей велика честь: священником бо противу ей с кресты и посадником псковским вышедшим, она же из посада вышед на новгородском береze и от священников благословение приемши, тако же и от посадников и от всего Пскова челобетие, поиде в дом святых Троица я со всеми приятели.

«И бе бо в ней свой владыка с нею, не по чину нашему оболчен (одеть): бе весь червленым платьем, имея на себе куколь червлен же, на главе обвить глухо яко же каптур литовский, только лице его знати, и перстатичы на руках его имея непременно, яко рук его никому же видети, и в той благословляет, да тако же и крест пред ним на высокое древо воткнуто горе; не имён же поклонения к святым иконам и креста на себе рукою не прекрестяся, и в дому святых Троица только знаменася к Пречистой и то по повелению царевны».

Когда царевна, – продолжает летописец, – была у святой Троицы и когда священники служили для нее молебн, то она приложилась к крестам животворящим и к образу Богородицы, а потом пошла на княжий двор государя своего. Там ей опять посадники псковские все и бояре и весь Псков честь сотворили вином и медом и всяким кормом, как ей самой, так и всем её приятелям, и слугам, и коням; кони ее были приведены сухим путем. Затем псковские посадники дарили ее, а также бояре и купцы, сколько кто мог («чия какова сила»), и весь Псков «дарова ей в почесть 50 рублей пенязями, а Ивану Фрязину 10 рублей».

«И она же царевна, сице видевши такову почесть в великого князя отчине своего государя, как от посадников псковских, так и от бояр и посполу от всего Пскова, и рече посадникам псковским и боярам и всему Пскову:

– «Яз царевна повестую, что есмь ныне на дорогу ехать хощю к своему и вашему государю на Москву, и по ныне посадником псковским, и бояром, и всему вашему Пскову отчине государя моего и вашего повестую: на вашем честноприятии и на вашем хлебе, и на вологе, и на вине, и на меду кланяюся: аще паки, оже ми даст Бог, и буду на Москве у своего и вашего государя, а где паки вам надобе будеть, ино яз паки царевна о ваших дёлах хочю печаловатися вельми».

Сказав эту речь, царевна поклонилась посадникам и всему Пскову. Все потом сели на коней, и она вошла в воз, приложилась к иконам у св. Троицы и с великою честью отъехала из Пскова. Посадники и бояре провожали ее до старого Вознесенья.

С такими же почестями встретил и проводил царевну Софью Великий Новгород.

Вообще Псков и Новгород приветствовали высокую путешественницу и будущую государыню свою, как умели и как, вероятно, у них было принято встречать таких высоких гостей. Для них не казалось даже непозволительным, что, во время шествия царевны с кардиналом, впереди последнего несли, по латинскому обычаю, распятие на высоком древке. Их удивляло только то, что кардинал не снимает перчаток («перстатичы») даже в церкви, и что он весь в красном, что в свите царевны «люди черны, а иные сини» и т. д. Но в Москве, как в престольном городе, на эти внешности должны были обратить особенное внимание, тем более, когда сообразили, с какими целями ехал в Московское княжество папский легат.

Когда Софья была еще далеко от Москвы, там уже собрался совет: великий князь совещался с матерью, братьями своими и боярами относительно того, как принять невесту, а особенно следовавшего с нею кардинала. Как они извещены были, царевну везде сопровождал папский посол, а впереди всегда несли латинское распятие. Можно ли допустить это в Москве в самый же день встречи и приема невесты? На совещании голоса разделились: одни говорили, что можно допустить это и в Москве; другие, напротив, утверждали, что этого допустить нельзя, что подобного ничего прежде не бывало в московской земле, что потому и теперь не следует оказывать почестей латинской вере. Указывали даже на Исидора, бывшего на флорентийском соборе и погибшего за то, что он оказал уважение латинской вере.

В этих затруднительных обстоятельствах великий князь обратился за разрешением конфликта к митрополиту Филиппу.

– Нельзя послу не только войти в город с крестом, но и подъехать близко, – отвечал митрополит великому князю: – если же ты позволишь ему это сделать, желая почтить его, то он в одни ворота в город, а я, отец твой, другими воротами из города. Неприлично нам и слышать об этом, не только что видеть, потому что кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот над своей надругался.

После такого ответа великий князь немедленно послал навстречу царевне одного боярина, который должен был отобрать у кардинала крест и спрятать в сани. Кардинал никак не соглашался исполнить это требование, но потом должен был покориться. Но зато московский посол Фрязин, которого летописец называет «денежником», долго сопротивлялся, желая этим угодить папе и его кардиналу за то, что и ему самому в Риме оказывали большие почести, тем более, что в Риме он утаил, что принял в Москве православие.

Около месяца царевна ехала от Пскова до Москвы – таковы в то время были пути сообщения. Наконец, 12 ноября 1472 года, она торжественно въехала в Москву и в тот же день была обвенчана с великим князем. «Великий князь Иван Васильевич, – говорит летописец, – приготовил пирование и честь велику, и взя с нею венчание и прием чертог, и тако с нею нача жити еже о Бозе, и возрадовашася с ним вси князи и бояре и вся земля русская; а Ивана Фрязина, сослав на Коломну, оковал».

На другой день после свадьбы, кардинал Антоний правил посольство и принес великому князю дары от папы. Затем кардинал немедленно приступил к переговорам о соединении церквей – цель, с которою задумано было замужество Софьи Палеолог и для которой Антоний назначен был легатом в московскую землю. Но как и прежде, все попытки пап приобрести себе в русских князьях новых духовных чад не имели успеха, так и теперь усилия их разбились о непоколебимость русских духовных властей. Едва у Антония начались с митрополитом совещания о вере, то, – говорит летописец, – папский легат скоро испугался, ибо митрополит выставил против него на спор тогдашнего русского книжника Никиту Поповича: иное спросивши у Никиты, сам митрополит говорил легату, как видно не доверяя своим познаниям в книжном деле, о другом же заставлял спорить самого Никиту. Кончилось тем, что кардинал не нашелся, что отвечать Никите и прекратил спор.

– Нет книг со мною! – сказал он, чувствуя свое бессилие перед Никитою-грамотеем.

На этом и кончились прения и переговоры о вере, о соединении восточной и западной церквей и о восстановлении флорентийской унии: брак Софьи Палеолог с великим князем московским по-видимому ни к чему не послужил для папы, хотя он так много на него надеялся. Но вероятно ораторские средства кардинала Антония были плохи, или он слишком понадеялся на силу своего красноречия или на обещания Ивана Фрязина, и в этой уверенности не взял даже с собою книг, которыми мог бы подкрепить свой спор с книжником Никитой, или же последний был такой говорун и знаток своей веры, а скорее упорный приверженец буквы, какими впоследствии оказались все русские книжники во время церковных смут, во всяком случае посольство кардинала окончилось ничем, и он скоро уехал.

Но несмотря на это, как брак Ивана Васильевича на племяннице византийского императора, так и присутствие в русской земле греческой царевны имели громадное нравственное и политическое влияние на всю последующую историю московского царства. Софья принесла с собою блеск и обаяние императорского имени; она же внесла в идею великокняжеской силы то, чего этой силе недоставало – царственности. Уже современники не могли не заметить, что после брака с отраслью старинного царственного рода, великий князь из простого старейшего князя между другими удельными князьями явился уже не князем только, а самодержавным «государем», что он и показал на Новгороде, и потому тотчас же получил наименование Грозного. Так называет его и летописец, говоря, что «сей бо великий князь Иоанн именуемый Тимофей Грозный». Великий князь становится монархом для князей и для могущественной, гордой дружины, которая, бывало, при малейшем неудоволь-

ствии на князя переходила к другому; а теперь ни князьям, ни дружине уйти было некуда. Князья, потомки Рюрика и Гедимины, превращаются, по отношению к государю московскому, в «холопей» и «смердов».

Всё это до известной степени внесла с собой Софья Палеолог. Еще недавно великий князь ездил в Орду, кланялся хану и его вельможам, как кланялись в течение двух столетий его предки, но когда в великокняжеский двор вошла Софья, то великий князь тотчас же заговорил с ханом другим языком.

Когда через несколько лет после женитьбы великого князя на Софье, хан Ахмат, прислав посла, потребовал Ивана Васильевича к себе в орду и приказывал высылать по-прежнему дань, Софья сказала мужу:

– Отец мой и я захотели бы лучше отчины лишиться, чем давать дань. Я отказала в моей руке сильным, богатым князьям и королям ради веры, вышла за тебя, а ты теперь хочешь и меня, и детей моих сделать данниками. Разве у тебя мало войска? Зачем слушаешься рабов своих и не хочешь стоять за свою честь и за святую веру?

Говорят, что великий князь вместо себя отправил в орду своего посла Бестужева: но вероятно речи, который велел Иван Васильевич своему послу передать хану, рассердили этого последнего, и потому он прислал в Москву новое посольство с требованием дани. Тогда великий князь взял ханское изображение («басму»), изломал, бросил на землю, растоптал ногами, велел убить послов ханских, пощадив жизнь только одному, которому и сказал:

– Ступай, объяви хану: что я сделал с его басмою и послами, то сделаю и с ним, если он не оставит меня в покое.

«Софья же, – говорить современники, – настояла, чтобы великий князь не выходил пешком, как это водилось до неё, навстречу ханским послам, привозившим с собою «царскую басму», чтобы не кланялся этим ордынским послам до земли, не подносил бы им кубок с кумысом и не выслушивал бы ханскую грамоту, стоя на коленях. Говорят, что, по настоянию жены, великий князь, для избежания всех унижительных обрядов при приеме ордынских послов, начал сказываться больным, пока окончательно не порвал свою подчиненность орде. Софья же, говорят, настояла на том, чтобы великий князь отнял у татарских послов и купцов кремлевское подворье, на котором они обыкновенно останавливались».

Влиянию же Софьи следует приписать и то, что с государями западной Европы великий князь заговорил другим языком, что в сношениях своих с этими государями он упоминает даже, «как от давних лет прародители его были в приятельстве и любви с прежними римскими цесарями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии, что и отец его «до конца был с ними в братстве и приятельстве».

В наказе Юрию Траханиоту, отправленному послом к австрийскому императору Фридриху и сыну его Максимилиану, великий князь уже говорить с гордым сознанием о своем царственном величии. «Если спросит тебя (говорит он в наказе): цесарь спрашивал у вашего государя, хочет ли он отдать дочь за племянника императорского, маркграфа баденского, «есть ли с тобой об этом какой приказ, – то отвечай: «за этого маркграфа государю нашему отдать дочь неприлично, потому что государь наш многим землям государь великий, но где будет прилично, то государь наш с Божиею волею хочет это дело делать». Если же начнут выставлять маркграфа владетелем сильным, скажут: «Отчего неприлично вашему государю выдать за него дочь?» – то отвечай: «Во всех землях известно, надеемся и вам ведомо, что государь наш великий государь, урожденный изначала, от своих прародителей, от давних лет прародители его были в приятельстве и любви с прежними римскими царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии; отец нашего государя до конца был с ними в братстве и приятельстве до зятя своего Иоанна Палеолога, – так как же такому великому государю выдать дочь свою за маркграфа?» Если же станут говорить, чтоб великому князю

выдать дочь за императорова сына Максимилиана, то тебе не отговаривать, а сказать так: «Захочет этого цезарь, то послал бы к нашему государю человека». Если же станут говорить об этом деле накрепко, что цезарь пошлет своего человека, и ты возьмешь ли его с собою? – то отвечай: «Со мною об этом приказу нет, потому что цесарский посол говорил, что Максимилиан уже женат; но государь ваш ищет выдать дочь свою за кого прилично: цесарь и сын его Максимилиан – государи великие, наш государь так же великий государь, – так если цесарь пошлет к нашему государю за этим своего человека, то, я надеюсь, что государь наш не откажет».

Вот каков стал язык великого князя московского. За маркграфа банденского уже неприлично великому князю выдавать свою дочь; на предложение австрийского посла, рыцаря Поппеля, предоставлявшего великому князю от австрийского императора королевский титул, отвечают, что этого титула «как прежде мы не хотели ни от кого, так и теперь не хотим», а что «постановление имели от Бога, как наши прародители, так и мы»; наконец, на требование ханом Золотой Орды дани отвечают поруганием над ханскою басмою и казнью послов.

Все эти крупные перемены приписывают влиянию Софьи. Хан не стерпел высокомерия великого князя и решился наказать своего «улусника». Согласившись с Казимиром Литовским, он двинулся на московские владения. Великий князь также выслал против него своих воевод и сам отправился к войску. В Москве он посадил в осаде свою мать, инокиню Марфу, князя Михаила Андреевича Вереяского, митрополита Геронтия, ростовского владыку Вассиана, замечательного проповедника и самую энергическую личность этого времени. Главную же виновницу войны, Софью, Иван Васильевич послал в более безопасное место, велел ей ехать вместе с казною на Белоозеро, а оттуда – далее к морю и к океану, если Ахмат возьмет Москву: так ревниво берег великий князь свою молодую жену!

Не дождавшись хана, великий князь оставил войска и воротился в Москву. В это время москвичи, ожидая татар, уже бывавших в Москве и устилавших ее нередко трупами, перебирались из посадов в Кремль на осадное сиденье. Когда они увидели великого князя, которого не ожидали, то подумали, что все пропало – войска великого князя разбиты, сам князь бежал, татары гонятся по следам его. Послышался народный, ропот.

– Егда ты, господин великий князь, над нами княжишь в кротости и тихости, тогда нас много в безделице продаешь, а нынечи, розгневив царя сам, выхода (дани) ему не платив, нас выдаешь царю и татарам! – кричал народ, собираясь толпами.

Но едва великий князь въехал в Кремль, как его встретили митрополит Геронтий и владыка Вассиан. Последний зло упрекал Ивана Васильевича за недостаток мужества, называл его «бегуном».

– Вся кровь на тебя падет христианская, что ты, выдав их, бежишь прочь, а бои не поставив с татарами и не бился с ними, – говорил он великому князю. – А чему боишься смерти? Не бессмертен еси человек – смертен! И без року нету смерти ни человеку, ни птице, ни зверю. А дай семо вой в руку мою, коли аз, старый, утулю лицо против татар!

И много подобного говорил Вассиан, а народ роптал: «а граждане роптаху на великого князя», говорит летописец. Испугавшись народного ропота, великий князь не решился ехать в свой кремлевский дворец, а остановился в Красном селе.

Боясь также и за своего сына, молодого князя Ивана, который находился при войске и сторожил проходы ханских войск через реку Угру, великий князь послал приказ, чтоб тот ехал в Москву. Молодой князь не послушался отцовской грамоты, не боясь даже навлечь на себя гнев своего государя. Тогда Иван Васильевич послал приказ воеводе, князю Холмскому, схватить молодого князя и силою привезти в Москву. Холмский не решался прибегнуть к силе, а молодой князь стоял на своем.

– Умру здесь, а к отцу не пойду! – отвечал он на все уговоры князя Холмского.

Вассиан настаивал, чтобы сам великий князь ехал к войску, чтобы он не боялся за свою молодую жену, не думал только о ней. Энергия старого пастыря победила боязнь князя. Через две недели он выехал к своим ратям, но не стал лицом к лицу с татарами, а уклонился в сторону, «утулил лице свое», как выражался Вассиан. Он даже начал сноситься с Ахматом: отправил к нему Ивана Товаркова с челобитьем и дарами, просил, чтобы хан отступил с войском и «не велел воевать улуса своего» – это русские-то земли!.. Видно было, что не было с ним Софьи Палеолог.

– Жалую Ивана! – высокомерно отвечал хан: – пусть сам приедет бить челом, как отцы его к нашим отцам ездили в орду.

Иван не поехал.

– Сам не хочешь ехать, так сына пришли или брата, – снова приказал сказать хан.

Князь не послал ни сына, ни брата.

– Сына и брата не пришлешь, так пришли Никифора Басенкова (который уже бывал в Орде), – настаивал Ахмат.

Узнал старый Вассиан об этих сношениях, об этой нерешительности великого князя, и снова грозное слово его пошло к «бегуну-князю, как он его назвал.

«Слышим ныне, – писал старик, – что бусурманин Ахмат уже приближается и христианство губить. Ты перед ним смиряешься, молишь о мире, посылаешь к нему, а он гневом дышит, твоего моления не слушает, хочет до конца разорить христианство. Не унывай, но возверзи на Господа печаль твою и той ты пропитает. Дошел до нас слух, что прежние твои развратники не перестают шептать тебе в ухо лстивые слова, советуют не противиться супостатам, но отступить и предать на расхищение волкам словесное стадо Христовых овец. Молюсь твоей державе, не слушай их советов! Что они советуют тебе, эти льстецы лжеименитые, которые думают, будто они христиане? Советуют бросить щиты, и, не сопротивляясь ни мало окаянными этим сыроядцам, предать христианство, свое отечество, и подобно беглецам скитаться по чужим странам. Помысли, великомудрый государь! от какой славы в какое бесчестие сведут они твое величество, когда народ тьмами погибнет, а церкви Божьи разорятся и осквернятся. Кто каменно-сердечный не восплачет об этой гибели? Убойся и ты, пастырь! Не от твоих ли рук взыщет Бог эту кровь? Не слушай, государь, этих людей, хотящих честь твою преложить в бесчестие и славу твою в бесславие, хотящих, чтобы ты сделался беглецом и назывался предателем христианским. Выйди навстречу безбожному языку агарянскому, поревнуй прародителям твоим, великим князьям, которые не только русскую землю обороняли от поганных, но и чужие страны брали под себя. Говорю об Игоре, Святославе, Владимире, бравших дань на царях греческих, о Владимире Мономахе, который бился с окаянными половцами за русскую землю, и о других многих, о которых ты лучше моего знаешь. А достохвальный великий князь Димитрий, твой прародитель, какое мужество и храбрость показал за Доном над теми же сыроядцами окаянными! Сам наперед бился, не пощадил живота своего для избавления христианского, не испугался множества татар, не сказал сам себе: «у меня жена и дети и богатства много – если и землю мою возьмут, то в другом месте поселюсь»; но, не сомневаясь нимало, воспрянул на подвиг, наперед выехал, и в лицо стал против окаянного разумного волка Мамай, желая исхитить из уст его словесное стадо Христовых овец. За это и Бог послал ему на помощь ангелов и мучеников святых; за это и до сих пор восхваляется Димитрий не только людьми, но и Богом. Так и ты поревнуй своему прародителю, и Бог сохранит тебя; если же, вместе с воинством своим, и до смерти постраждаешь за православную веру и святые церкви, то блаженны будете в вечном наследии. Но, быть может, ты опять скажешь, что мы находимся под клятвою прародительскою – не поднимать рук на хана, то послушай; если клятва дана по нужде, то нам повелено разрешать от нее, и мы прощаем, разрешаем и благословляем тебя идти на Ахмата не как на царя, но как на разбойника, хищника, богоборца. Лучше, солгавши, получить жизнь, чем, соблюдая

клятву, погибнуть – пустить татар в землю на разрушение и истребление всему христианству, на запустение и осквернение святых церквей, и уподобиться окаянному Ироду, который погиб, не желая преступить клятвы. Какой пророк, какой апостол или святитель научил тебя, великого русских стран христианского царя, повиноваться этому богостудному, оскверненному, самозванному царю? и т. д.

Эти сильные слова остановили великого князя при войске, потому что и Софья раньше говорила своему мужу тоже, заставляя его ногами растоптать ханскую басму и идти на битву. Но битвы не было: хан отступил в свои степи через литовские земли, напрасно похваляясь все лето: «даст Бог зиму на вас – когда все реки станут, то много будет дорог на Русь».

Русь и Москва были спасены. Все, кто бежал, стали возвращаться по домам. '

Воротилась и великая княгиня Софья. «Тое же зимы, – говорить летописец, – приде великая княгиня Софья из бегов, бе бо бегала от татар на Белоозеро, а не гонял никто же; и по которым странам ходила, тем пуще татар от боярских холопов, от кровопийцев христианских: быша бо жены их тамо (боярские) – возлюбиха бо паче жены, «неже православную христианскую веру».

Софью, по-видимому, не любили современники, и на это они имели много причин.

Во время борьбы с Ахматом, Софья уже имела детей. Первого сына назвали Василием-Гавриилом. Но у нее был и пасынок, старший сын Ивана Васильевича от первой жены Марьи Борисовны, Иван, названный в отличие от отца Иваном Молодым. Иван Молодой, по воле отца, желавшего отстранить посягательства на московский престол своих братьев, тоже носил звание великого князя, а потому грамоты писались от обоих. Ивану Молодому, показавшему такую энергию при нападении Ахмата на русские земли, в 1490 году было уже 32 года, когда он тяжело заболел: болезнь его называли «камчюгом» – это ломота в ногах. Медицинские средства в то время были очень слабы и к ним прибегали редко. Находившийся тогда в Москве еврей-лекарь, мистр Леон, вывезенный русскими послами из Венеции, предложил великому князю лечить Ивана Молодого.

– Я вылечу твоего сына, – говорил он, – а не вылечу, вели меня казнить казнью.

Великий князь приказал лечить. Леон давал больному какие-то лекарства внутрь, а к телу стал прикладывать склянки с горячей водой. Однако больному стало хуже, и он умер. Но приказанию великого князя, Леон, ругавшийся головою за выздоровление молодого князя, был схвачен, и, когда покойнику исполнилось сорок дней, казнен.

Враги Софьи говорили, что Иван Молодой был отравлен ею с согласия великого князя, для того, чтобы великое княжение передать сыну Софьи – Василию. Но у Ивана Молодого остался маленький сын Димитрий от Елены, дочери молдавского господаря Стефана, на которой был женат Иван Молодой. Возникал вопрос: кто должен наследовать великое княжение – сын или внук великого князя, сын Софьи или сын Елены? Великий князь решил этот вопрос в пользу первого: не даром великий князь женился на греческой царевне ради предания империи, ради идеи царской власти. Сын Софьи был сын греческой царевны, тогда как сын Елены был только внук молдавского господаря – громадная разница; первый – отрасль царского корня; в гербе его должен был вестись и герб римской империи – это хорошо понимала Софья Палеолог и этот же взгляд на дело она сообщила своему мужу.

Софья Палеолог победила. Двор разделился на партии, начались происки, интриги, заговоры и казни.

Образовались две партии – старая и молодая. Первую составляли более знатные сановники – князья и бояре; ко второй примкнули боярские дети, дьяки и вообще все, что выделялось грамотностью и личной заслугой. Старая партия примкнула к Елене, к её сыну Димитрию, потому что предпочтением сына Софьи сыну Ивана Молодого великий князь нарушил старину, склонился к «новшеству». Старая партия, несмотря на то, что великий князь в данном случае был не на ее стороне, была, однако, до того сильна, что молодая партия, опасаясь

ее торжества, решила избавиться от главного соперника главы их партии. Задумано было лишить жизни Дмитрия. Один из заговорщиков, дьяк Стромилов, сообщил сыну Софьи – Василию, что отец хочет перенести великое княжение на Дмитрия, и потому, соединившись с дьяками и боярскими детьми Яропкиным, Поярком, Гусевым, князьями Палецким-Хрулем и Шевьим-Стравиным, Стромилов советовал молодому князю тайно оставить Москву и, захватив казну в Вологде и Белоозере, умертвить Дмитрия. Может быть, Софья об этом и не знала ничего. Заговорщики, однако, были скоро схвачены и пытаны. Молодой князь был заключен отцом под стражу, а его приверженцы казнены. Яропкину отрубили руку, ноги и голову. Поярку руки и голову, Стромилову, Гусеву, Палецкому-Хрулю и Шевью-Стравину отсекли только головы. Казнь совершена была на Москве реке. Другие соучастники заговора брошены в тюрьмы.

Софью также постигла опала. Князь узнал, что к ней приходили ворожеи с зельем. Ворожей – «лихих баб», как говорить летописец, обыскали и ночью утопили в Москве-реке. Самой Софьи Иван Васильевич с тех пор стал остерегаться.

Старая партия торжествовала.

Великий князь тотчас же велел венчать на царство внука Дмитрия, обойдя своего сына и сына Софьи. Обряд венчания совершили 4 февраля 1498 года. Когда Иван Васильевич с внуком вошли в Успенский собор, то на том месте, где ставят святителей, приготовлено было большое место, на котором стояли три стула: великому князю, молодому Дмитрию и митрополиту. Шапка Мономаха и бармы лежали на аналое. Митрополит со всем собором отслужил молебен. После молебна великий князь и митрополит заняли свои места, а молодой князь стал перед ними, у верхней ступени эстрады.

– Отец митрополит! – говорил Иван Васильевич, обращаясь к святителю: – Божьим изволением от наших прародителей, великих князей, старина наша оттоле и до сих мест: отцы наши, великие князья, сыновьям своим старшим давали великое княжение, и я было сына своего первого, Ивана, при себе благословил, великим княжением; но Божиею волею сын мой Иван умер, у него остался сын первый Дмитрий, и я его теперь благословляю при себе и после себя великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским, и ты бы его, отец, на великое княжение благословил.

Митрополит велел Дмитрию стать на место и, вставши, благословил крестом. Дмитрий преклонил голову, а митрополит, положив на нее руку, громко провозгласил молитвы, чтоб Господь Бог дал поставляемому скипетр царства, посадил его на престол правды и проч. Два архимандрита взяли с аналая и поднесли бармы и шапку Мономаха. Митрополит брал их и передавал великому князю, который и возлагал эти знаки царские на молодого Дмитрия.

После многолетия началось поздравление обоих великих князей. Митрополит сказал им обоим порознь краткое приветствие. Молодому князю прочитаны были поучения и от митрополита и от деда. В шапке и бармах вышел нововенчанный князь из собора. В дверях его осыпал золотыми и серебряными деньгами дядя его, младший сын Софьи, Юрий.

А старший сын Софьи, ее первенец, Василий, во время этого торжества сидел под стражей!

Торжество старой партии было полное. Но оно скоро сменилось ужасами и казнями. Схвачены были князья Патрикеевы потомки Гедимины, и Ряполовский – вожаки этой партии: крамолы их доказаны, измены обличены. Ряполовскому отсекли голову на Москве-реке, двух Патрикеевних постригли в монахи, третьего оставили под стражей.

– Чтоб во всем между вас было гладко, пили бы бережно, не допьяна, чтобы вашим небрежением нашему имени бесчестья не было, – говорил великий князь своим послам, отправляя их к польскому королю и припоминая казненных им недавно князей Ряполовского и Патрикеева: – ведь, что сделаете не по пригожу, так нам бесчестье и вам тоже. И вы бы

во всем себя берегли, а не так бы делали, как князь Семен Ряполовский высокоумничал с князем Патрикеевым.

Все это было делом Софьи. После казни вожаков старой партии, великий князь стал охладевать к венчанному им внуку, сыну Елены. Сидевший под стражею сын Софьи Василий получает свободу и объявляется великим князем Новгорода и Пскова. Мало того, на голову венчанного внука Димитрия и на мать его Елену окончательно падает опала великого князя. Их сажают под стражу, имена их исключаются из ектении и литии, титул великого князя отбирается от недавно венчанного внука, а венчание великим княжением и шапка Мономаха переносятся на голову недавно опального сына Софьи – Василия.

А за что опала обрушилась на первых?

– Если дочь моя, великая княгиня литовская Елена или кто другой спросит вас (наказывал Иван Васильевич послам своим, отправляя их в Литву): – «как великий князь пожаловал сына своего Василия великим княжением?» – то отвечайте: «пожаловал государь наш сына своего, учинил государь так: как сам он государь на государствах своих, так и сын его с ним на всех тех государствах государь». Если же спросят: «а ведь прежде государь пожаловал великим княжеством внука своего, и он взял ли у внука великое княжение? – отвечайте: «который сын отцу служит и норовит, того отец больше и жалует; а который сын родителям не служит и не норовит, того за что жаловать?» Если же дочь моя Елена спросит: «где теперь внук и сноха?» – то отвечайте: «внук и сноха живут теперь у великого князя так же, как и прежде жили».

Мало того, посол, отправляемый в Крым, должен был отвечать на все вопросы: «Внука своего государь наш было пожаловал, а он стал государю нашему грубить; но ведь жалует всякий того, кто служить и норовить, а который грубит, того за что жаловать?»

Вот и все разъяснение причин опалы, постигшей великокняжеского внука Димитрия с матерью, и вторичного торжества Софьи с молодою партией.

В заключение настоящей характеристики мы должны сказать, что, судя по всем оставшимся от того времени памятникам, в Русской земле Софья Палеолог как мы заметили выше, не пользовалась общеою любовью: она была все-таки женщина иноплеменная, хотя и гречанка; она, по мнению большинства современников, была причиною разъединения великокняжеской власти с землею, с народом, а главное с дружиною или – что тоже – с боярщиною. Отсюда нелюбовь к ней боярщины.

Курбский, хотя человек весьма образованный для того времени, но большой приверженец старины и консерватор еще удельного закала, говорит, намекая на Софью Палеолог: «в предобрых русских князей род всеял дьявол злые нравы, наипаче же женами их злыми и чародеицами, яко и во израильских царях, паче же которых поимовали от иноплеменников».

Наконец, опальный Берсень-Беклемишев в разговоре с Максимом-Греком прямо указывает на влияние Софьи и греков вообще.

– Как пришли сюда греки, – говорить Берсень: – так наша земля и замешалась, а до тех пор земля наша русская жила в тишине и в миру. Как пришла сюда великая княгиня Софья с вашими греками, так наша земля и замешалась, и пришли нестроения великие, как и у вас в Царьграде при ваших царях.

– Господин! – замечал на это Максим Грек: – великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого: по отцу царского рода Константинопольского, а по матери происходила от великого герцога Феррарского итальянской стороны.

– Господин! – возражал на это Берсень: – какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла. Которая земля переставляет обычаи свои, та земля недолго стоит. А здесь у нас старые обычаи великая княгиня переменяла: так какого добра от нас ждать?

Значение вреда, внесенного в русскую землю Софьей Палеолог, выражается в заключительных словах Берсена: «Лучше старых обычаев держаться и людей жаловать, и старых почитать; а теперь государь наш, запершись сам-третей у постели, всякие дела делает».

Не отрицая того огромного влияния, которое Софья Палеолог имела лично на великого князя Ивана Васильевича и на направление его дел, мы не можем не признать громадности ее влияния и вообще на весь дальнейший ход нашей исторической жизни: с приходом в русскую землю Софьи-римлянки, как ее иногда называют летописцы, в русскую общественную жизнь влиты были новые начала, а вместе с тем Русская земля стала не чужда и западноевропейской жизни с ее культурой и цивилизацией, свободный приток для которых окончательно открыт был только Петром Великим.

Софья Палеолог умерла 7 апреля 1503 года, прожив в Русской земле более тридцати лет.

VII. Елена Ивановна, великая княгиня Литовская и королева Польская

По смерти Казимира, великого князя литовского и короля польского, в 1492-м году, Литва и Польша разделились между двумя сыновьями Казимира – Яном-Альбрехтом и Александром. Первый стал королем Польским, а последний – великим князем Литовским.

«Собиратель русской земли великий князь московский Иван Васильевич III давно считал литовских князей своими смертельными врагами, потому что Литва давно посягала на такие русские земли как Великий Новгород, Псков и некоторые удельные княжества, при малейшем неудовольствии на Москву тотчас же задавались, за Литву и Литвою грозили Москве».

Поэтому, когда умер Казимир, которого Москва боялась трогать, и на Литве стал господином великий князь Александр, то Иван Васильевич, в союзе с крымским ханом Менгли-Гиреем, начал теснить Литву, имея с нею старые недоконченные счета.

Литва, поставленная между двух огней, не могла не чувствовать, что сила ее будет сломлена, и потому решила завязать родственные связи с Москвою, чтобы родством этим уладить без ущерба для себя старые с нею счета. У московского великого князя от брака с Софьей Палеолог были две дочери невесты, и на одну из них, Елену, пал исторически жребий послужить русско-литовскому делу: на браке своего князя Александра с княжною Еленою Литва думала основать свою дружбу с Москвою.

По обычаю того времени, сватовство Литвы на русской, княжне началось издалека. Полоцкий наместник, пан Ян Заберезский, избранный Литвою орудием для этого сватовства, отправил своего писаря Лаврина в Новгород к воеводе Якову Захарьичу под предлогом покупки в этом городе разных вещей, а в сущности – с косвенным предложением сватовства. Так как это было государственное дело, то Яков Захарьич, выслушав предложение, сам отправился в Москву, чтоб доложить об этом великому князю.

Иван Васильевич, считавший, как мы видели выше, неприличным выдавать дочь свою за маркграфа Баденского, не так взглянул на сватовство Литвы.

Хотя великий князь и обвинялся некоторыми из московских бояр, недовольными его браком с Софьей Палеолог и внесенными ею в московскую придворную жизнь нововведениями, как например, Берсень Беклемашев обвинял Ивана Васильевича в том, будто он все дела государственный решает «сам-третей у постели», относя впрочем обвинение это уже на сына этого государя, – однако, и в таком семейном деле, как сватовство за его дочь, великий князь ни шагу не делал без бояр. Узнав о «задирках» Литвы, как он выражался насчет сватовства, Иван Васильевич посоветовался с боярами, и сначала порешил было сказать Якову Захарьичу, что он не должен посылать к пану Заберезскому своего человека с ответом

относительно сватовства; но вскоре великий князь передумал, и когда Захарьич уехал уже в Новгород, послал ему приказ отправить к пану Заберезскому ответ. Впрочем, так как военные действия между Литвой и Москвой продолжались, то великий князь прекращать военных действий не велел по случаю сватовства, говоря, «что и между государями пересылка бывает, хотя бы и полки сходились». Захарьичу велено при этом писать пану Заберезскому вежливо, потому что и пан Заберезский писал вежливо. Посланный должен был под рукою поразведать и о тамошних литовских делах – как великий князь живет с панами, как у них в земле дела и каше слухи про братьев Александра? Захарьичу велено было также через своего посланного сказать пану Заберезскому, что до заключения мира о сватовстве собственно нечего и толковать: это значило, что Москва догадывалась о стесненных обстоятельствах Литвы и хотела ее поприжать.

Литва, между тем, торопила со сватовством – явный признак, что ей было тяжело от Москвы и от Менгли-Гирея, разом давивших ее, и потому сватовство свое Литва ставила чем-то в роде парламентарского флага.

После первых разведок, пан Заберезский писал уже в Москву к самому приближенному боярину великого князя, князю Ивану Юрьевичу Патрикееву, которого мы уже видели выше при взятии Москвою Новгорода, где Патрикеев объявлял новгородцам последнее слово московского князя, а потом когда, за происки против Софьи Палеолог, Патрикеевых постигла опала. Патрикеев сам был из литовцев, как надо полагать, и Яков Захарьич был тоже литовский выходец, а потому литвины с своими московскими земляками и завязали речь о сватовстве. «Дознайся, – писал пан Заберезский князю Патрикееву, – у своего государя, великого князя, захочет ли он отдать дочку свою за нашего государя, великого князя Александра? А мы здесь с дядьями и братьями нашими хотим в том деле постоять». «Дядья» и «братья» – эти паны Старпие и равные в «литовской раде».

Особый посланец повез ответ князя Патрикеева пану Заберезскому.

Литва видимо еще более заторопилась. Той же зимой от литовского князя Александра явился на Москву послом пан Глебович. После, посольских дел пан Глебович был на обеде у великого князя. После обеда, по обычаю, великий князь послал с князем Ноздроватым на посольское подворье меды – поить посла. Подвыпивши, пан Глебович стал заговаривать с князем Ноздроватым о сватовстве, но не добившись ничего, хотел говорить об этом с князем Патрикеевым. Пировали потом у Патрикеева, снова выпили, и снова пан Глебович начал «задирки» о сватовстве. Патрикеев ничего не отвечал, потому что считал неприличным говорить о таком деле людям, находившимся в положении пирующих. Однако, на другой день, доложивши об этом великому князю, Патрикеев сам заговорил с Глебовичом о деле. Тот отвечал, что говорить лично от себя, а не от своего государя, и только просил вывести у великого князя: согласится ли он на брак своей дочери с их государем.

– По вашему, какому делу следует быть прежде – миру или сватовству? – отвечал на это Патрикеев.

Глебович сказал, что об этом поговорят с великими московскими людьми великие литовские люди, которые едут на Москву. С своей стороны Патрикеев сказал, что когда приедут литовские послы для заключения мира, тогда время будет начать речь и о сватовстве и что московские бояре этого желают, а до той поры и говорить нечего.

Между тем гонец Патрикеева, возивший в Полоцк ответ его пану Заберезскому, воротился с новым письмом этого последнего. Заберезский писал, что о сватовстве он говорил с князем, епископом и панами, что все они желают мира и родственного союза между государями и что этого желает и великий князь их Александр. Но на всякий случай Заберезский желал, до отъезда послов своих в Москву по этим делам, иметь ручательство в том, что начатое дело поведет к доброму концу;

«Как вы государя своего честь стережете, – писал он, – так и мы: если великие послы вернутся без доброго конца, то к чему доброму то дело пойдет вперед?»

Но Москва хитрила и заминала речь о сватовстве: ей хотелось добиться существенных результатов в вопросе о мире.

Литва с своей стороны хитрила. Видя, что её подходы к сватовству не удаются, она пустила в ход опять окольные сношения. В ход были пущены «кречеты». Птицу эту любили литовские паны, большие соколиные охотники. «Задирики» посредством «кречетов» начались опять со стороны пана Заберезского с земляком своим Яковом Захарьичем.

Пан Заберезский прислал к Захарьичу в Новгород пробить позволение купить двух кречетов. Захарьич знал, что означали эти кречеты, и тотчас послал доложить об этом великому князю.

Иван Васильевич отвечал, что дело тут не в кречетах, а, конечно, засылает Литва затем, чтобы высмотреть что-либо, «или задираючи для прежнего дела». Поэтому Захарьич должен был послать к Заберезскому своего человека с кречетами и с грамотою о деле: «возьмутся за это дело, то дай Бог, а не возьмутся, то нам низости в этом нет никакой». Великий князь наказал также, чтоб в Полоцк с кречетами послали умного человека, который бы мог высмотреть тамошние дела и вежливо порасспросить; с посланцем же Заберезского отправить до границы пристава с наказом – смотреть, чтобы с ним никто дорогой не поговорил, и чтоб так делалось и вперед, когда кто из Литвы приедет.

Так дело тянулось почти два года. Видя бесполезность этих подсыпок и «задираний», Литва решила отправить в Москву большое посольство. В январе 1494 года явились большие послы – братья Петр Белый Янович, воевода Троицкий, и Станислав Гаштольд Янович, староста Жомойтский. Цель посольства была – мир с Москвою и укрепление вечной с ней приязни родственными связями.

Послы должны были представляться и великой княгине Софье Палеолог, матери невесты. До представления они спрашивали: будут ли при ней дочери? Послам отвечали, что дочерей не будет. Во время переговоров великий князь объявил, что согласен выдать дочь свою за литовского государя, если только ей не будет неволи в вере, в чем послы ручались головою.

Послы явились княгине. Там они увидели невесту, старшую дочь великой княгини, Елену. Ей в это время было около 18-ти лет. Без сомнения, смотрины невесты оказались благоприятными, потому что в тот же день последовало обручение, т. е. мена крестов с цепями и перстней.

Особу жениха представлял младший посол пан Станислав, а старший был отстранен потому, что был женат на другой жене.

Великий князь требовал, чтоб жених дал такую утвержденную грамоту: «Нам его дочери не нудить к римскому закону. Держит она свой греческий закон».

За грамотой отправлены были в Литву послы – князья Ряполовские. Это те самые Ряполовские, из которых одному, Семену, как мы видели выше, великий князь впоследствии отрубил голову за заговор против великой княгини Софьи и сына ее Василия и о котором Иван Васильевич отзывался, что Семен Ряполовский в Литве «высокоумничал». Ряполовским дан наказ: говорить накрепко, чтоб Александр дал грамоту о вере Елениной по списку слово в слово; если же он никак не захочет дать грамоты, то укрепить его на словах, пусть крепкое свое слово молвит, что не будет ей принуждения в греческом законе. Ряполовские донесли из Вильно, что Александр дает грамоту, но только в такой форме: «Александр не станет принуждать жены к перемене закона; но если она, сама захочет принять римский закон, то ее воля». Ряполовские не принимали этой грамоты. Тогда Александр отправил в Москву нового посла, Лютавора Хребтовича. Великий князь спросил: зачем Александр изменил грамоту? Посол отвечал, что он не может отвечать на этот вопрос, не имея наказа. На это великий

князь объявил: если Александр не даст грамоты по прежней форме, то он дочери за него не отдаст.

Литва и здесь уступила. Грамота была дана такая, какую требовал великий князь московский. Тогда он назначил и время приезда послов за невестой – праздник Рождества: «чтоб нашей дочери, – говорил он, – быть у великого князя Александру за неделю до нашего великого заговенья мясного».

Послы приехали за невестой в январе. Это были: виленский воевода князь Александр Юрьевич, полоцкий наместник Янь Заберезский, главный сват присылавший за кречетами и проч., и наместник бреславский пан Юрий.

– Скажите от нас брату и зятю нашему великому князю Александру, – говорил Иван Васильевич послам: – на чем он нам молвил и лист свой дал, на том бы и стоял, чтоб нашей дочери никаким образом к римскому закону не нудил. Если бы даже наша дочь и захотела сама приступить к римскому закону, то мы ей на то воли не даем, и князь бы великий Александр на то ей воли не давал же, чтоб между нами про то любовь и прочная дружба не нарушалась. Да скажите великому князю Александру: как даст Бог наша дочь будет за ним, то он бы нашу дочь, свою великую княгиню, жаловал, держал бы ее так, как Бог указал мужьям жен держать, а мы слыша его к нашей дочери жалованье, радовались бы тому. Да чтоб сделал для нас – велел бы нашей дочери поставить церковь греческого закона на переходах у своего двора, у ее хором, чтоб ей близко было к церкви ходить, а нам бы его жалованье к нашей дочери приятно было слышать. Да скажите от нас епископу и панам вашей братье, всей раде, да и сами поберегите, чтоб брать наш и зять нашу дочь жаловал, и между нами братство и любовь в прочная дружба не нарушались бы.

13 января была обедня в Успенском соборе. После обедни, на которой присутствовало все великокняжеское семейство и бояре, великий князь подозвал литовских послов к дверям и передал им свою дочь.

Но невеста не тотчас уехала. Два дня она жила в Дорогомилове. Тут шло угощение послов, и угощал их брат невесты Василий. Великая княгиня Софья, мать невесты, сама ночевала с ней. Великий князь два раза приезжал к дочери. Вот его последний наказ: во всех городах, через которые будет проезжать, она должна быть в соборных церквях и служить молебны. В Витебске гордовой мост худ, а потому «если можно будет проехать ей к соборной церкви, то поехала бы, а нельзя – то и не ездила бы». Наказал, как поступать, когда какие-нибудь паны встретят ее. Если кто из панов даст ей обед, то самой панне быть на обеде, а пану не быть. Отъехавших из Москвы самовольно князей, Шемечича и других, не допускать к себе; если бы даже и после, в Вильне, они пожелали ударить ей челом, то чтоб Александр не велел им и княгиням их ходить к Елене. Если ее встретит сам великий князь Александр, то ей из каптаны (из экипажа) выйти и челом ударить, и быть ей в это время в наряде; если позовет ее к руке, то ей к руке идти и руку дать; если велит ей идти в свою повозку, но там не будет его матери, то ей в его повозку не ходить, а ехать в своей каптане. В латинскую божницу не ходить, а ходить в свою церковь; захочет посмотреть латинскую божницу или монастырь латинский, то может посмотреть один раз или дважды. Если будет в Вильне королева, мать Александра, ее свекровь, и если пойдет в свою божницу, а та ей велит идти с собою, то Елене провожать королеву до божницы и потом вежливо отпроситься в свою церковь, а в божницу не ходить.

Когда Елена подъезжала к Вильне, то Александр встретил ее за три версты от города. Он был верхом на коне. От его коня до Елениной каптаны послано было красное сукно, а у каптаны – по сукну камка с золотом. Елена вышла из каптаны на камку, а за нею вышли и провожавшие ее боярыни. В тоже время Александр сошел с коня, подошел к Елене, дал ей руку, принял ее к себе, спросил о здоровье и велел опять пойти в каптану. Потом дал руку боярыням, сел на коня, и все вместе въехали в город. В тот же день происходило венчание.

Хотя латинский епископ и сам жених крепко настаивали, чтоб приехавший с Еленой русский священник Фома не говорил молитв и княгиня Марья Ряполовская не держала венца, однако, Семен Ряполовский настоял, чтоб приказ великого князя Московского был исполнен в точности.

Видно, что католическое духовенство с первого же раза думало повернуть московскую княжну несколько на сторону латинства, даже хотя бы со стороны обрядности; но этого ему не удалось. Дальше мы увидим, как много горя принесло Елене это иезуитское втягивание московской княжны в лоно римской церкви.

Вскоре потом московские бояре, провожавшие Елену, Ряполовские и Русалка были отпущены из Вильны.

– Вы говорили от великого князя Ивана Васильевича, чтоб мы дочери его, а нашей великой княгине поставили церковь греческого закона на переходах, подле ее хором (говорил Александр боярам); но князья наши и паны, вся земля, имеют права и записи от предков наших, отца нашего и нас самих, а в правах написано, что церковей греческого закона больше не прибавлять: так нам этих прав рушить не годится. А княгине нашей церковь греческого Закона в городе есть близко – если ее милость захочет в церковь, то мы ей не мешаем. Брат и тесть наш хочет также, чтоб мы дали ему грамоту на пергаменте относительно греческого закона его дочери; но мы дали ему грамоту точно такую, какой он сам от нас хотел: эта грамота теперь у него с нашею печатью.

В мае в Москву приехал от Александра посол Петряшкович благодарить за присылку Елены.

– Ты хотел, – говорил посол великому князю от имени Александра, – чтоб мы оставили несколько твоих бояр и детей боярских при твоей дочери, пока привыкнет к чужой стороне, и мы для тебя велели им остаться при ней некоторое время; но теперь пора уже им выехать от нас: ведь у нас, слава Богу, слуг много, есть кому служить нашей великой княгине. Какая будет ее воля, кому что прикажет, и они будут, по ее приказу, делать все, что только ни захочет.

Великому князю это не понравилось. Сильно он был недоволен своим зятем и за то, что тот перестал называть его «государем всея России», что не захотел построить церкви для Елены, когда он просил его сделать это именно «для нее, что, наконец Александр отослал из Вильны московских бояр, которых Ивану Васильевичу хотелось непременно удержать при дочери.

– Наш брат, великий князь, – говорил он Петряшковичу: – сам знает, с кем там его предки и он сам утверждали те права, что новых церковей греческого закона не строить: нам до тех его прав дела нет никакого; а с нами брат наш великий князь да и его рада договаривались на том, чтоб нашей дочери держать наш греческий закон, и что нам брат наш и его рада обещали, то все теперь делается не так.

Тогда же поскакал из Москвы гонец, Михайло Погожев, с грамотою к Елене: «Сказывали мне здесь, – писал ей отец, – что ты нездорова, и я послал навестить тебя Михайлу Погожева: ты бы ко мне с ним отписала, чем не можешь и как тебя нынче Бог милует.

Но это был только предлог – те же «кречета.» Гонец должен был наедине сказать Елене от отца: «Эту грамоту о твоей болезни я нарочно прислал к тебе для того, чтоб не догадались, зачем я отправил Погожего». А Погожев именно затем и был прислан, чтоб Елена не держала при себе людей латинской веры и не отпускала московских бояр. Главному же из них, князю Ромодановскому, великий князь велел передать: «что ко мне дочь моя пишет, и что вы пишете, и что о вами дочь моя говорить – все это и робята у вас знают: пригоже ли так делаете?»

Крайняя неподатливость виднеется в действиях и той и другой стороны». С латинской верой, по-видимому, сильно, хотя косвенно и замаскированно, налегали на Елену и на ее привычки. А может быть она невольно и поддавалась этому влиянию по молодости и по

тому, что культурные формы общежития в Вильне были привлекательнее для неё первобытных, грубоватых форм её родины, где она жила в затворе, в терему: молодость везде и всегда одна и та же. Как бы то ни было, но отец её видимо сердился на её мужа.

Так, когда в Литве испугались движения из Крыма Менгли-Гирея, Александр и Елена просили помощи у отца. Московский князь обещал помощь, но между тем постоянно напоминал о греческой церкви, о небытии слуг латинской веры при Елене, о непринуждении ее носить польское платье, которое, может быть, ей больше нравилось, чем московское, да при этом такое требование со стороны Москвы – чтобы даже не позволять носить то платье, которое принято в стране – не могло не казаться литовскому государю, по меньшей мере, излишним. Но главное – московский князь гневался за то, что его перестали называть «государем всея Руси», что тоже было важно и для литовского князя, ибо он был государем «литовской Руси». При всем том Иван Васильевич отозвал из Литвы Ромодановского и других бояр, бывших в свите Елены, и оставил при ней только священника Фому с двумя крестовыми певчими и несколько поваров (конечно, главное для приготовления постной пищи Елене, чтобы она в посты не скоромилась). Александр же упрямился почти во всем, – да оно и понятно: он не мог терпеть да ему и не позволила бы Литовская рада, чтоб им, литовским государем, распоряжались в его царстве даже в деле прислуги и костюма его жены.

– Кого из панов, паней и других служебных людей мы заблагорассудили приставить к нашей великой княгине, кто годится, тех и приставили: ведь в этом греческому закону ее помехи нет никакой.

Борьба в этом случае шла между православною Русью и западным католичеством. Московская Русь не желала терять своей нравственной связи с Русью литовскою – все это была одна Русь: там Киев и Вильна, здесь – Москва, Владимир, Новгород. Видеть Киев, мать русских городов и колыбель веры, в руках Литвы католической было тяжело для Москвы.

Так, когда московский князь услышал, что брату Александра Сигизмунду хотят дать Киев, он велел сказать дочери:

– Слышал я, дочь, каково было нестроенье в литовской земле, когда было там государей много, да и в нашей земле, слыхала ты, какое было нестроение при моем отце, слыхала, какие и после были дела между мною и братьями, а иное и сама помнишь. Так, если Сигизмунд будет в литовской земле, то вашему какому добру быть? Я об этом приказываю тебе для того, что ты – наше дитя, что если ваше дело нехорошо, то мне жаль. А захочешь об этом поговорить с е великим князем, то говори с ним от себя, а не моею речью, да и мне обо всем дай знать, как ваши дела.

Зять и тесть все более и более становились врагами и тайно сносились с врагами друг друга.

Понятно, что положение молодой женщины, поставленной между отцом и мужем, которых она, конечно, обоих любила, было очень тяжело: она должна была закрывать собой и того и другого, мирить их, просить отца за мужа, потому что последний естественно должен был стать ей, по учению даже церкви, дороже отца. А она, между тем, должна была хитрить, выведывать у мужа государственные тайны для отца, становиться в положение, против которого совесть и сердце должны были протестовать.

Одному послу от Ивана Васильевича было наказано: если Елена скажет, что муж ее посылал в орду и в Швецию по своим делам, а не для того, чтоб возбуждать их против Москвы, то отвечать ей, что он именно посылал в орду наводить ахматовых сыновей на Москву и на Крым, что Москве известно, с чем посылал он и в Швецию, что если Елена хочет, то отец пришлет ей даже грамоты ордынские, да и о том скажет, с чем муж ее посылал к шведскому правителю Стену Стурю.

В таком положении дела стояли больше двух лет. Елене становилось все тяжелее в литовской земле, где уже многие стали на нее смотреть недружелюбно, так как отец ее не переставал теснить Литву.

В ноябре 1497 года московский князь прислал в Литву Микулу Ангелова. Через него отец говорил Елене:

– Я тебе приказывал, чтоб просила мужа о церкви, о панах и панях греческого закона, и ты просила ли его об этом? Приказывал я к тебе о попе, да о боярыне старой, и ты мне отвечала ни то, ни се. Тамошних панов и паней греческого закона тебе не дают, а наших у тебя нет: хорошо ли это?

Ангелову велено было даже разузнать: когда идет у Елены служба, и то она на службе стоит ли?

– О церкви я была челом великому князю (отвечала Елена Ангелову), но он и мне отвечает то же, что московским послам. А поп Фома не по мне («не мойской»), а другой поп есть со мною из Вильни очень хороший. А боярыню как ко мне из Москвы прислать, как ее держать, как ей со здешними сидеть? Ведь мне не дал великий князь еще ничего, кого жаловать: двух, трех пожаловал, а иных я сама жалую. Если бы батюшка хотел, то тогда же боярыню со мною послал, а попов мне кого знать? Сам знаешь, что я на Москве не видала никого. А что батюшка приказывает, будто я наказ его забываю, так бы он себе и в сердце не держал, что мне наказ его забыть: когда меня в животе не будет, тогда отцовский наказ забуду. А князь великий меня жалует, о чем бью челом, и он жалует, о ком помяну. А вот которая у меня посажена пани, что была озорница, и нынеча она уже тишает. («А восе которая у меня посажена, и она была восорка и нынеча уже тишает»).

С каждым днем, по-видимому, положение бедной женщины, Оторванной от родины и соединившей свою судьбу с католическим государством, становилось все тяжелее; но Елена молчала – ничего не говорила суровому отцу.

Это обнаружилось помимо ее воли. В 1498 году, вяземский наместник князь Оболенский получил из Вильны от подъячего Шестакова письмо такого содержания: «Здесь у нас произошла смута большая между латинами и нашим христианством: в нашего владыку смоленского дьявол вселился, да в Сапегу еще – встали на православную веру. Князь великий неволил государыню нашу, великую княгиню Елену, в латинскую проклятую веру; но государыню нашу Бог научил, да помнила науку государя отца своего, и она отказала мужу так: «вспомни, что ты обещал государю отцу моему; я без воли государя отца моего не могу этого сделать; обошлюсь, как меня научит». Да все наше православное христианство хотят окрестить: от этого наша Русь с Литвою в большой вражде. Этот списочек послал бы ты государю, а то государю самому не узнать. Больше не смею писать; если б можно было с кем на словах пересказать».

Дело в том, что действительно на православие в это время Литва подняла гонение.

Александр, вступая в брак с Еленою, обманул римский двор. Он уведомил его, что дал отцу невесты ту грамоту, где сказано, что ее не будут принуждать к римской вере, «если она сама не захочет принять ее», а не ту, которую его заставили дать. Римский двор, поэтому, узнав обман, не позволял Александру жить с иноверною женой до 1505 года, когда папа Юлий II, рассчитывая, что московский князь уже стар и может скоро умереть, разрешил этот брак; а до того времени папа Александр VI прямо писал мужу Елены, что совесть его будет совершенно чиста, какие бы средства ни употребил он для склонения жены к римскому закону.

Вот откуда эта ревность к католицизму и вот почему в смоленского владыку и в Сапегу, как выражался подъячий Шестаков, «дьявол вселился».

Иван Васильевич, которому передали записку Шестакова, тотчас послал в Вильну Мамонова объявить от себя и от жены Софьи Палеолог своей дочери Елене, чтоб она

«пострадала до крови и до смерти», а греческого закона не оставляла бы. Он попрекал её только, зачем она таилась до сих пор, когда ее силой влекут в католичество. Зять своего московский князь попрекнул тем, что тот жену свою принуждает принять латинскую веру и в грамотах своих «нелепицы приказывает, помимо дела».

Раздражение между обеими сторонами росло быстро. Война была неизбежна – и войну объявила Москва. Мы не намерены касаться подробностей войны, так как заняты исключительно участью великой княгини Елены; притом лишь только, что война тянулась четыре года. Москва сильно теснила Литву, и чем тяжелее были эти натиски со стороны Москвы, тем тяжелее и невыносимее становилась жизнь Елены: в ней видели источник всех зол, опрокинувшихся на литовскую землю.

Между тем польский король Ян-Альбрехт, брат Александра литовского, умер, и муж Елены соединил под своей короной Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Елена стала королевою Польскою. Но Литве от этого не стало легче, и она желала мира. Посредником между воюющими сторонами явился папа Александр VI. Он говорил, что пора христианским государям бросить вражду, что враги христианства, турки, пользуясь этой враждой, несут все дальше и дальше в Европу свои захваты.

Из Литвы прибыло посольство о мире. Елена также прислала к отцу своего канцлера Ивана Сапегу с письмом, в котором вылила перед суровым родителем все свое горе, о котором она до сих пор молчала.

Вот это замечательное письмо, дышащее безыскусственной простотой, полное неподражаемой прелести и оригинальности:

«Господин и государь батюшка! Вспомни, что я служебница и девка твоя, а отдал ты меня за такого же брата своего, каков, ты сам; знаешь, что ты ему за мною дал и что я ему с собою принесла; но государь муж мой, нисколько на это не жалуясь, взял меня от тебя с доброю волею и держал меня во все это время в чести и в жаловании и в той любви, какую добрый муж обязан оказывать подружью, половине своей. Свободно держу я веру христианскую греческого обычая; по церквам своим хожу, священников, дьяконов, певцов на своем дворе имею; литургию и всякую иную службу Божию совершают передо мною везде, и в литовской земле, и в короне Польской. Государь мой король, его мать, братья короля, зятья и сестры и паны радные и вся земля, все надеялись, что со мною из Москвы в Литву пришло все доброе: вечный мир, любовь кровная, дружба, помощь на поганство; а теперь видать все, что со мною одно лихо с ним вышло: война, рать, взятие и сожжение городов и волостей, разлитие крови христианской, жены вдовами, дети сиротами, полон, крик, плач, вопль! Таково жалование и любовь твоя ко мне! По всему свету поганство радуется, а христианские государи не могут надивиться и тяжело жалуется: от века, говорят, не слышно, чтобы отец своим детям беды причинял. Если, государь батюшка, Бог тебе не положил на сердце меня, дочь свою, жаловать, то зачем меня из земли своей выпустил и за такого брата своего выдавал? Тогда и люди бы из-за меня не гибли, и кровь христианская не лилась. Лучше бы мне под ногами твоими в твоей земле умереть, нежели такую славу о себе слышать. Все одно только и говорят: для того он отдал дочь свою в Литву, чтоб тем удобнее землю и людей высмотреть. Писала бы к тебе и больше, да с великой кручины ума не приложу; только с горькими и великими слезами и плачем, тебе, государю и отцу своему низко челом бью: помяни, Бога ради, меня, служебницу свою и кровь свою, оставь гнев неправедный и нежитье с сыном и братом своим, и первую любовь свою и дружбу к нему соблюди,

чтоб кровь христианская больше не лилась, поганство бы не смеялось, а изменники ваши не радовались бы, которых отцы предкам нашим изменили там на Москве, и дети их тут в Литве. А другого чего мне нельзя к тебе и писать. Дай им Бог изменникам того, что родителю нашему от их отцов было. Они между вами, государями, замутили, да другой еще Семен Бельский Иуда с ними, который, будучи здесь в Литве, братию свою, князя Михайла и князя Ивана переел, и князя Федора на чужую сторону прогнал: так, государь, сам посмотри, можно ли таким людям верить, которые государям своим изменили и братью свою перерезали и теперь по шею в крови ходят, вторые Каины, да между вами, государями, мутят? Смилуйся, возьми по старому любовь и дружбу с братом и зятем своим! Если же надо мною не смилуешься, и прочною дружбою с моим государем не свяжешься, тогда уже сама уразумею, что держишь гнев не на него, а на меня; не хочешь, чтоб я была в любви у мужа, в чести у братьев его, в милости у свекрови, и чтоб подданные наши мне служили. Вся вселенная ни на кого другого, только на меня вопиет, что кровопролитие случилось от моего в Литву прихода, будто я к тебе пишу, привожу тебя в войну: если бы, говорят, она хотела, то никогда бы такого лиха не было; мило отцу дитя – какой на свете отец враг детям своим? И сама разумею, и по миру вижу, что всякий заботится о детках своих и о добре их промышляет: только одну меня, по грехам, Бог забыл. Слуги наши не по силе и трудно поверить какую казну за дочерями своими дают, и не только что тогда дают, но и потом каждый месяц обсылают, дарят и тешат, и не одни паны, но и все деток своих тешат: только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалованье; а я перед тобою ни в чем не выступила. С плачем тебе челом бью: смилуйся надо мною, убогою девкою своею, не дай недругам моим радоваться обиде моей и веселиться о плаче моем. Если увидят твое жалованье на мне, служебнице твоей, то всем буду честна, всем грозна; если же не будет на мне твоей ласки, то сам можешь разуметь, что покинут меня все родные государя моего и все подданные его».

Так же плакалась она в письмах к матери и к братьям.

Хотя мир вскоре и был заключен между воюющими сторонами, однако ни Иван Васильевич не перестал настаивать на том, чтобы Елене построили греческую церковь и не принуждали к римскому закону, ни польский король не переставал упрямяться и не исполнять требований московского князя. «А начнет брат наш дочь нашу принуждать к римскому закону, то пусть знает: мы этого ему не спустим, будем за это стоять, сколько Бог пособить», говорил московский князь послам польского короля. Но послы отвечали, что папа уже два раза присылал к их королю с требованием, чтобы королева Елена была послушна апостольскому престолу и ходила в латинскую церковь. Папа, по их словам, хочет не того, чтоб Елена вторично крестилась и греческий закон оставила, а приняла бы только флорентийскую унию. Послы просили Ивана Васильевича лично приказать, что ему нужно, папскому послу, который был тогда в Москве, или отправить своего посла к папе.

– Нам о своей дочери, о том деле, зачем к папе посылать своего посла? – отвечал Иван Васильевич: – о том деле, своей дочери, нам к папе не посылать, а скажите брату и зятю, чтоб, как нам обещал, на том бы и стоял, чтоб за то между нами нежитья не было.

Ивану же Сапеге, канцлеру Елены, при отправлении обратно в Литву, великий князь сказал:

– Ивашка! привез ты к нам грамоту от нашей дочери, да и словами нам от нее говорил; но в грамоте иное не дело написано, и не пригоже ей было о том к нам писать. Пишет, будто ей о вере от мужа никакой присылки не было: но мы наверное знаем, что муж ее Александр

король посылал к ней, чтоб приступила к римскому закону, и не к одной к ней, а ко всей Руси. Скажи от нас нашей дочери: «Дочка! Памятуй Бога да наше родство, да наш наказ, держи свой греческий закон во всем крепко, а к римскому закону не приступай ни которым делом, церкви римской и папе ни чем послушна не будь, в церковь римскую не ходи, душою никому не норови, мне и всему нашему роду бесчестья не учини; а только по грехам что станется, то нам и тебе и всему нашему роду будет великое бесчестье и закону нашему греческому укоризна. И хотя бы тебе пришлось за веру и до крови пострадать, и ты б пострадала. А только, дочка, поползнешься приступить к римскому, закону, волею или неволею, то ты от Бога душою погибнешь, а от нас будешь в неблагоговении: я тебя за то не благословлю, и мать не благословить, а зятю своему мы того не спустим: будет у нас с ним за то беспрестанно рать».

С послами которых вслед затем Иван Васильевич отправлял в Литву, был от него к дочери новый наказ, и явный, и тайный. К явном наказе послы должны были сказать от него Елене: «Писала ты к нам, что люди в Литве надеялись всякого добра от твоего приходу, а вместо того в нем с тобою пришло всякое лихо. Но до дело, дочка, случилось не тобою: случилось оно неисправлением брата нашего и зятя, а твоего мужа. Я надеялся, что как ты к нему придешь, так тобою всей Руси, греческому закону, укрепление будет; а вместо того, как ты к нему пришла, так он начал тебя принуждать к римскому закону, а из тебя и всю Русь начал принуждать к тому же. Ты ко мне пишешь, что к тебе от мужа о перемене веры никакой присылки не было; а послы твоего мужа нам от него говорили, что папа к нему не раз присылал, чтоб он привел тебя в послушание римской церкви: но если к твоему мужу папа за этим не раз присылал, то это все равно, что и тебе приказывать. Я думал, дочка, что ты, для своей души, для нашего имени и родства и для своего имени, будешь к нам обо всем писать правду: и ты, дочка, гораздо ли так делаешь, что к нам неправду приказываешь, будто к тебе о вере никакой посылки не было».

А в тайном наказе и на тайные речи Елены Иван Васильевич приказал своим послам следующее:

«Если спросит вас канцлер королевин Ивашка Сапега: «есть ли к королеве ответ от отца на те речи, что я от нее говорил? – то скажите Сапеге тихо, что ответ есть и к нему есть грамота».

Ответ этот послы должны были сказать Елене наедине.

Вот он:

«Говорил мне от тебя канцлер твой Ивашка Сапега, что ты еще по нашему наказу в законе греческом непоколебима и от мужа в том тебе принуждения мало, а много за греческий закон укоризны от архиепископа Краковского, от епископа Виленского и от панов литовских; говорят они тебе, будто она не крещена, и иные речи недобрые на укор нашего греческого закона тебе говорят; да и к папе они ж приказывали, чтоб пока к мужу твоему послал и велел тебя привести в послушание римской церкви; говорил он от тебя, что пока твой муж здоров, до тех пор ты не ждешь никакого притеснения в греческом законе; опасаясь одного, что если муж твой умрет, тогда архиепископ, епископы и паны станут тебя притеснять за греческий закон, и потому просишь, чтоб мы взяли у твоего мужа новую утвержденную грамоту о греческом законе, к которой бы архиепископ краковский и епископ виленский печати свои приложили, и руку б епископ виленский на той грамоте дал нашим боярам, что тебе держать свой греческий закон. Это ты, дочка, делаешь гораздо, что душу и имя свое бережешь, наш наказ помнишь и наше имя бережешь, а я к твоему мужу теперь с своими боярами о грамоте приказал. Да говорил мне от тебя

Сапега, что свекровь твоя уже стара, а которые города за ней в Польша, те города всегда бывают за королевами: так чтоб я приказал к твоему мужу, если свекрови не станет, то он эти города отдал бы тебе. Дай Бог, дочка, чтоб я здоров был, да мой сын, князь великий Василий, и мои дети, твои братья, да муж твой и ты: как будет нам пригоже приказать о том к твоему мужу, и мы ему о том прикажем».

Сохранились некоторые письма Елены к отцу, в которых она сносится с московским князем не об одних делах религиозных и политических, но и о семейных.

Так, отправляя послов в Литву, Иван Васильевич приказал им узнать от Елены: не имеет ли она в виду невест для своего брата Василия, которому приспело время жениться. Невеста должна быть из знатных владетельных особ и по преимуществу греческого закона.

– «Так ты бы, дочка, разузнала, у каких государей греческого закона будут дочери, на которых бы было пригоже мне сына Василия женить,» наказывал он Елене.

Елена разузнавала, и вот ее отзыв о наличных в то время невестах:

– «У маркграфа Бранденбургского, говорят, пять дочерей: большая осьмнадцати лет, хрома, нехороша; подбольшая – четырнадцать лет и лицом хороша («парсуною ее поведуют хорошую»). Есть дочери у Баварского князя, каких лет – не знаю, матери у них нет. У Штеттинского князя есть дочери, слава про мать и про них добрая. У французского короля сестра обручена была за Альбрехта короля Польского, собою хороша, да хрома, и теперь на себя чепец положила, пошла в монастырь. У датского короля его милость батюшка лучше меня знает, что дочь есть», говорила Елена послу.

Когда же посол просил ее послать разведать о дочерях Сербского деспота, маркграфа Бранденбургского и других государей, то Елена отвечала:

– Что ты мне говоришь – как мне посылать? Если бы отец мой был с королем в мире, то я послала бы. Отец мой лучше меня сам может разведать. За такого великого государя кто бы не захотел выдать дочь? Да у них во латыни так крепко, что без папина ведома никак не отдадут в греческий закон: нас укоряют беспрестанно, зовут нас нехристями. Ты государю отцу моему скажи: если пошлет к маркграфу, то велел бы от старой королевы таиться, потому что она больше всех греческий закон укоряет.

Было у Елены и своего рода желание пощеголять – ведь она была королева польская, и притом молода; а польские пани всегда славились своим щегольством. Поэтому Елена иногда писала отцу о разных присылках. Так Иван Васильевич, этот суровый для нее «государь-батюшка», без сомнения любивший «свою служебницу», «девку свою», заботился и о нарядах своей «дочки», и вот однажды с послом своим он велит ей сказать: «Приказывала ты ко мне о горностаях и о белках, и я к тебе послал 500 горностаев на 1500 подпалей. Приказывала ты еще, чтобы прислал тебе соболя черного с ногами передними и задними и с когтями; но смерды, которые соболей ловят, ноги у них отрезают; мы им приказали соболей черных добывать, и как нам их привезут, мы к тебе пошлем сейчас же. А что ты приказывала о кречетах, то теперь их нельзя было к тебе послать, еще путь не установился, а как путь установится, то я к тебе кречетов пришлю сейчас же».

Эта трогательная заботливость о дочери продолжалась до самой смерти «грозного» Ивана Васильевича.

Умер и Александр, король Польский, и великий князь Московский. Елена стала вдовствующею королевою. Литва избрала своим великим князем брата Александра, Сигизмунда, короля Польского.

До Москвы стали доходить слухи, что вдовствующую королеву и великую княгиню Елену начали будто бы теснить в Литве, что воеводы троцкий и виленский схватили ее в Вильне и свезли в Троки, казну ее забрали, земли отняли и т. п.

Но у Елены уже не было в Москве сильного защитника – отец умер; матери, Софьи Палеолог, тоже не было уже на свете. Но оставался, впрочем, брат, такой же сильный, как и отец. Он горячо вступился за сестру по поводу слухов о притеснениях, будто бы делаемых ей в Литве.

Но король Сигизмунд вот что, между прочим, отвечал по этому делу московскому послу:

– Что касается до панов воевод виленского и троцкого, то нам очень хорошо известно, что они у невестки нашей казны, людей, городов и волостей не отобрали, в Троки и Биршаны ее не увозили и бесчестья ей никакого не чинили; они только сказали ей, с нашего ведома, чтоб ее милость на тот раз в Бреславль не ездила, потому что пришли слухи о небезопасности пограничных мест. Дивимся мы тому, что брат наш, по речам лихих людей, не доведавшись наверное, к нам присылает и говорит о том, что у нас и в уме не было. Мы, с тех пор, как стали господарем на отчине нашей, невестку нашу держали в большом почете, к римскому закону ее не принуждали и не будем принуждать, и не только не отнимали у нее тех городов и волостей, которые дал ей брат наш Александр, но еще несколько городов, волостей и дворов ей наших передали, и вперед, если даст Бог, хотим ее милость держать в почете. А чтоб брат наш мог лучше увериться, поезжай ты, посол, к невестке нашей королеве и спроси ее сам: что от нее услышишь, то и передай брату нашему, а вперед брат наш лихим людям не верил бы, чтоб между нами ссоры не было».

Последние годы жизни Елены Ивановны не представляют уже того живого интереса, как первые годы ее жизни в Литве: со смертью мужа и отца кончается и ее историческая миссия, потому что в истории Литвы и России на первый план выступают другие интересы и другие лица, к которым мы и перейдем.

Елена Ивановна умерла в 1513 году, прожив в Литве около 19 лет и совершив все, что она, поставленная в зависимое положение отцом и мужем, в состоянии была сделать в пользу дела в литовской Руси. Умерла она еще очень молодой – ей не было и 37 лет.

VIII. Соломония Сабурова

С XVI-го века в истории русской женщины замечается та особенность, что, с утверждением единовластия в доме Калиты, московские государи, хотя и расширяют круг своих сношений с западными государствами, однако, по разным политическим причинам не всегда находят для себя или для своих сыновей невест между иноземными владетельными домами, равно неохотно вступают в родственные связи с остававшимися в русской земле княжескими домами рюриковского рода, низведенными на степень простых боярских или служилых родов, а чаще начинают вступать в родственный союз, посредством браков, со своими подданными, даже не княжеского происхождения, и ищут невест в своей собственной земле.

Выше мы видели, что князь Иван Васильевич III, когда пришло время женить старшего сына Василия Ивановича, обращался к дочери своей Елене, великой княгине литовской и королеве польской, чтоб она приискала его сыну невесту между владетельными домами Западной Европы. Мы видели, что из указанных Еленою невест некоторые были еще слишком молоды, другие с физическими недостатками, третьих, наконец, она не знала, или же не надеялась на удачный исход сватовства.

Как бы то ни было, но великий князь решился искать для своего сына невесту между своими подданными. Из 1.500 девушек, предназначенных для смотрин в невесты великокняжескому сыну, выбор пал на Соломонию из рода Сабуровых. Отец Соломонии был Юрий Сабуров, потомок ордынского выходца мурзы Уста.

Судьба Соломонии или Соломонида, как ее называли по-русски, представляет в истории русской женщины вообще, по-видимому, одну лишь отрицательную сторону, и история останавливается лишь на последних годах жизни этой женщины.

Соломония не имела детей. Обстоятельство это представляло весьма важное значение в государстве, которое только начинало крепнуть после родовых усобиц и посягательств на великокняжескую власть всех близких и далеких родичей московских государей. Естественно, что великий князь Василий Иванович предвидел серьезные последствия, если он умрет без наследника, и потому неплодие Соломонии не могло не быть для него большим несчастьем. Сознавала это и Соломония, которая в этом отношении лично все теряла вместе с потерей любви своего мужа.

Летописец говорит, что несчастная Соломония употребляла все средства, чтобы помочь горю. Она прибегала к знахаркам, испытывала все чародейские способы, чтоб отвести несчастье, делала все, что ей советовали ворожеи – но все было напрасно.

Исторические акты того времени сохранили нам любопытное показание Ивана Сабурова о том, как он, из родственной любви и по усердию подданного, лично приводил знахарок к Соломонии.

– Говорила мне великая княгиня, – показывал Сабуров, – «есть-де женка, Стефанидою зовут, рязанка, и ныне на Москве, и ты ее добуди, да ко мне пришли.» И яз Стефаниды допытался да и к тебе ее есми на двор позвал, да послал есми ее на двор к великой княгине с своею женкою с Настею, и Стефанида была у великой княгини. А после того пришел яз к великой княгине, и она у меня смотрела, а сказала, что у меня детям не быти; а наговаривала мне воду Стефанида и смачивати велела от того, чтоб великий князь любил; а коли понесут великому князю сорочку и порты и чехол, и она мне велела из рукомойника тою водою смочив руку, да охватывать сорочку и порты и чехол и иное которое платье белое.»

Прибегала Соломония и к другим ворожеям, обращалась за наговорами к черницам.

– Черница наговаривала не помню масло, не помню мед пресной, а велела ей тем тереться от того, чтоб ее великий князь любил, да и детей деля, – показывал тот же Сабуров.

Знахарки и знахари приводились со всех мест (конечно, тайком от великого князя), так что Сабуров даже и припомнить их всех не может.

– Того мне не испаятовати, сколько ко мне о тех делах жонок и мужиков прихаживало.

Как бы то ни было, усилия несчастной Соломонии оказались тщетными. Надо было ожидать развода с мужем.

«Однажды, – говорит летописец, – великий князь, проезжая за городом, увидел на дереве птичье гнездо, залился слезами и начал громко жаловаться на судьбу».

– Горе мне! на кого я похож? И на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты; и на зверей земных не похож, потому что ж они плодовиты, и на воды не похож, потому что и воды плодовиты: волны их утешают, рыбы веселят.

Взглянув потом на землю, великий князь продолжал плакаться:

– Господи! не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они тебя, Господи!

По всей вероятности, это басня, сочиненная для эффекта самим летописцем, или легенда, ходившая в то время в народа; как мы это и увидит ниже («Ирина Годунова»); но при всем том несомненно одно, что Василий Иванович начал думать о разводе, а быть может на эту мысль его навели бояре:

Летописец говорит, что в присутствии бояр великий князь жаловался на свое несчастье, боясь оставить царство без наследника.

– Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и пределах? – с плачем говорил он: – братьям отдать? Но они и своих уделов строить не умеют.

Тогда между боярами послышался говор.

– Государь князь великий! Неподную смоковницу посекают и измещут из вертограда, – говорили бояре.

Великий князь решился, наконец, на эту меру. Хотя против такого решения сильно восставали весьма уважаемые в то время лица, а именно – из опальных князей Патрикеевых знаменитый Василий Косой, в монашестве Вассиан, Семен Курбский и Максим Грек, однако в ноябре 1525 года последовал развод великого князя с женою, и Соломония была пострижена в Рождественском девичьем монастыре под именем Софьи, а после сослана в Суздальский Покровский монастырь.

Говорят, что Соломония очень не хотела этого развода, плакала, умоляла, противилась; но все было бесполезно. Говорят даже, что она потому так не желала идти в монастырь, что была уже беременна, и в монастыре родила сына Георгия.

Известный путешественник Герберштейн, бывший в то время в Москве, рассказывает ходившие тогда в народе слухи, что когда Соломонию постригали в монахини, когда митрополит, несмотря на ее плач и рыдания, уже обрезал ей волосы и намеревался надеть на постригаемую монашеское облачение, несчастная долго противилась, оттолкнула от себя это одеяние, бросила на землю, топтала его ногами. Находившийся тут боярин Иван Шигона, один из самых приближенных к великому князю советников, возмущенный этим недостойным поведением постригаемой, не только жестоко укорял ее в этом, но и ударил палкой.

– Как смеешь ты сопротивляться воле государя? – сказал Шигона, – как смеешь не слушаться его приказаний?

– А по чьему приказу ты бьешь меня? – возразила Соломония.

– По приказанию государя, – отвечал будто бы Шигона.

Тогда, пораженная этим ответом, Соломония будто бы покорилась необходимости и позволила облачить себя в монашеское одеяние, но при этом сказала, что за такую обиду Бог будет её мстителем.

Вскоре потом, – продолжает Герберштейн, – распространилась молва, что Соломония беременна и скоро должна родить. Слух этот будто бы подтверждали две бывшие при ней боярыни, жены приближенных к великому князю советников, Георгия Малого, великокняжеского казначея, и Якова Мазура, великокняжеского постельничего, которые, будто бы, от самой Соломонии слышали, что она беременна и скоро ожидала родов. Разгневанный, будто бы, этими толками великий князь прогнал от себя этих боярынь, и одну из них, жену Георгия Малого, велел высечь розгами, почему она раньше не донесла о том, что слышала. Вскоре после этого, будто бы, великий князь послал в монастырь, где содержалась Соломония, боярина Федора Рака и дьяка Потапа подлинно удостовериться в истине дошедшего до него слуха. «Некоторые москвитяне, – говорить Герберштейн, – клятвенно заверяли нас, что Соломония действительно родила потом сына Георгия, что никому не показывала его, и когда к ней приходили посмотреть ребенка, она говорила, что глаза их недостойны видеть царское дитя, которое, возмужав, должно отмстить врагам за обиду матери». Другие же утверждали, что ничего подобного не было, и вообще молва об этом обстоятельстве совершенно различна.

В ноябре 1525 года совершен был развод великого князя с Соломонией, а в январе 1526 года он уже женился на княжне Елене Васильевне Глинской.

IX. Елена Глинская

Фамилию Глинских носили знаменитейшие выходцы из Литвы, в числе которых, как известно, были князья Патрикеевы, Бельские и другие.

Елена Васильевна Глинская была родная племянница знаменитого Михайлы Глинского. Девушка эта, по-видимому, получила уже другое образование и выросла в дру-

гой обстановке и была уже сама далеко не тем, чем были все прочие девицы, княжны и боярышни, родившиеся в московской земле и росла под влиянием исключительных обычаев и обстановки своего времени, давшего нам тот образец теремной жизни русской женщины, который всем нам более или менее известен своею непривлекательной стороной.

Выдаваясь из всех своих русских сверстниц, княжон и боярышень, сколько воспитанием, столько своими личными качествами, которые неоспоримо проявляются во всей последующей жизни и деятельности Елены, эта молодая княжна не могла не обратить на себя внимания великого князя, и это внимание несомненно было настолько велико, что для Елены, говорят современники, великий князь Василий Иванович решился даже на такую меру, которая в то время еще порицалась и в понятиях народа и в обычаях старины – это бритье бороды, или, как тогда выражались, «возложение бритвы на браду», вообще дело греховное. Желая нравиться Елене, Василий Иванович, говорят, начал брить бороду, чтобы, вероятно, этим внешним отличием напомнить дочери Глинских бывших панов литовских, обычаи ее родины.

Это обаяние молодой литвинки, ставшей русской княжною, быть может, было невольной причиной того, что Василий Иванович так охотно согласился исполнить совет некоторых бояр о том, что неплодную смоковницу следует срубить и бросить в огонь, то есть развестись с первою женою Соломонией Сабуровой, и, постригши ее в монахини, избрать себе молодую супругу в лице Елены Глинской. Как бы то ни было, но через несколько месяцев после развода с Соломонией, Василий Иванович совершил свадьбу с Еленой Глинской.

До нас дошло любопытное описание этой древне-русской свадьбы. Вот оно.

В средней дворцовой палате приготовлены были два места, покрытые бархатом и камками, положены были на них изголовья шитые; на изголовьях по сороку соболей, а третьим сороком опахивали жениха и невесту; подле поставлен был стол, накрытый скатертью; на нем были калачи и соль. Невеста шла из своих хором в среднюю палату с женою тысяцкого, двумя свахами и боярынями; перед княжною шли бояре, за боярами несли две свечи и каравай, на котором лежали деньги.

Неизвестно, присутствовали ли в этой процессии «плясицы», но знаем, что вскоре после этого играли свадьбу брата великого князя Василия Ивановича, князя Андрея Ивановича с княжной Хованской, то в описании этой свадьбы прибавлено, что когда Елена Глинская, уже великая княгиня, заменявшая, по-видимому, роль свахи при невесте, сошла с нею и с прочими поезжанами к великому князю, то перед невестою шли «плясицы», а за плясиками шли дети боярские и т. д.

Когда же Елена Глинская сама выходила замуж, то о «плясиках» ничего не сказано, а говорится, что когда все пришли в среднюю палату, то Елену посадили на место, а на место великого князя посадили ее младшую сестру; провожатые все тоже сели по своим местам. Тогда послали сказать жениху, что все готово. Прежде жениха явился брат его князь Юрий Иванович, чтоб рассадить бояр и детей боярских. Распорядившись этим, Юрий послал сказать жениху: «Время тебе, государю, идти к своему делу».

Великий князь, вошедший в палату с тысяцким и со всем поездом, поклонился иконам, свел со своего места невестину сестру, сел на него, и, посидев немного, велел священнику говорить молитву. Жена тысяцкого стала невесте и жениху чесать головы; в то же время богоявленскими свечами зажгли свечи женихову и невестину, положили на них обручи и обогнули соболями. Причесав голову жениху и невесте, надев невесте на голову кичу и навесивши покров, жена тысяцкого начала осыпать жениха и невесту хмелем, а потом соболями опахивать; дружка великого князя, благословясь, резал перепечу [Перепеча – древнерусское ритуальное мясное блюдо, делавшееся обычно в середине октября – в период резки овец, и употреблявшееся как поминальное. Бараний ливер, запечённый в бараньей сетке (сальнике) прим. ред.] и сыры, ставил на блюдах перед женихом и невестою, перед гостями, и

посылал в рассылку, а невестин дружка раздавал ширинки [расшитые полотенца]. После этого, посидев немного, жених и невеста отправились в соборную Успенскую церковь венчаться; свечи и каравай несли перед санями. Когда митрополит совершил венчание, подал жениху и невесте вина, то великий князь, допив вино, ударил скляницу о землю и растоптал ногою; стекла подобрали и кинули в реку, как прежде велось. После венчания, молодые сели у столба, где принимали поздравления от митрополита, братьев, бояр и детей боярских, а певчие дьяки на обеих клиросах пели новобрачным многолетие. Воротившись от венца, великий князь ездил по монастырям и церквам, а потом сели за стол. Перед новобрачными поставили печеную курицу, которую дружка отнес к постели. Во время стола споры о местах были запрещены. Когда пришли в спальню, жена тысяцкого, надев на себя две шубы, одну как должно, а другую навыворот, осыпала великого князя и княгиню хмелем, а свахи и дружки кормили их курицей. Постель была постлана на тридевяти ржаных снопах; в головах, в кадке с пшеницей стояли свечи и каравай. В продолжение стола и всю ночь конюший с саблей наголо ездил кругом подклета. На другой день, после бани, новобрачных кормили у постели кашей.

Но первые годы после свадьбы великий князь Василий Иванович и от новой жены Елены Глинской, как и от старой Соломонии Сабуровой, не имел детей. Только через три года (25 августа 1530 года) родился у них первый ребенок – Иван – это будущий царь Иван Васильевич Грозный, а потом вскоре и другой сын Юрий или Георгий.

Понятно после этого, как велика должна была быть радость великого князя и как, вследствие этого, он еще более и всецело отдался своей привязанности к Елене и своим маленьким детям. Любовь его к Елене выражалась уже тем, как мы сказали, что он решился на огромный для того времени подвиг – он брил бороду; нежность же его к детям, а особенно к первенцу Ивану, поразительно сквозит в каждом слове его писем к Елене, в этих драгоценных свидетельствах далекой старины, сохранных временем:

Вот одно из этих писем:

«От великого князя Василия Ивановича всея Руси жене моей Елене.

Я здесь, дал Бог, милостью Божией и пречистой Его Матери и чудотворца Николы, жив до Божьей воли, здоров совсем, не болит у меня, дал Бог, ничто. А ты б ко мне и вперед о своем здоровье отписывала, и о своем здоровье без вести меня не держала, и о своей болезни отписывала, как тебя там Бог милует, чтоб мне про тебя было ведомо. А теперь я послал к митрополиту да и к тебе Юшка Шепая, а с ним послал в тебе образ – Преображение Господа нашего Иисуса Христа, да послал к тебе в этой грамоте запись свою руку, и ты б эту запись прочла, да держала ее у себя. А я, если даст Бог, сам, как мне Бог поможет, непременно к Крещенью буду на Москву. Писал у меня эту грамоту дьяк мой Труфанец, и запечатал я ее своим перстнем».

К сожалению, этой собственноручной записки Василия Ивановича в Елене время не пощадило – содержание её неизвестно.

У маленького Ивана оказался, на шее веред [нарыв, гнойник], и вот великий князь опять пишет Елене:

«Ты мне прежде об этом зачем не писала? И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана сына Бог милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и бывает ли это у детей малых? Если бывает, то отчего бывает: с роду ли, или от иного чего? О всем бы об этом ты с боярынями поговорила и их выспросила, да ко мне отписала подлинно, чтоб мне все знать. Да и вперед чего ждать, что они придумают – и об этом дай

мне знать, и как ныне тебя Бог милует и сына Ивана как Бог милует, обо всем отпиши.

Веревка прорвалась, – и вот опять заботливое послание к Елене. «И ты бы ко мне отписала, теперь что идет у сына Ивана из больного места, или ничего не идет? И каково у него это больное место, опало или еще не опало, и каково теперь? Да и о том ко мне отпиши, как тебя Бог милует и как Бог милует сына Ивана. Да побаливает у тебя полголовы, и ухо, и сторона: так ты бы ко мне отписала, как тебя Бог миловал, не баливало ли у тебя полголовы, и ухо, и стороны, и как тебя ныне Бог милует? Обо всем этом отпиши ко мне подлинно».

Это значит, что у молодой жены мигрень – дамская болезнь, которую, по-видимому, и тогда знали.

Но вот сын Юрий заболел – и новое послание, хотя Юрий, по-видимому, был менее любим, чем Иван:

«Ты бы и вперед о своем здоровье и о здоровье сына Ивана без вести меня не держала, и о Юрье сыне ко мне подробно отписывай, как его станет вперед Бог миловать».

Великий князь желает даже подробно знать, что кушают дети его от любимой жены: «Да и о кушанье сына Ивана вперед ко мне отписывай: что Иван сын покушает, чтоб мне было ведомо». – Все «сын Иван» на первом плане.

Но недолго был счастлив великий князь своей нежной привязанностью к молодой жене и к маленьким детям. Когда Ивану было только три года, великий князь тяжело занемог – открылась болячка на левом боку. Он был в это время вне Москвы. Больной, он боялся своим видом испугать нежно любимую жену. Но наконец, чувствуя, что умирает, он решился допустить ее к себе. Елена сильно плакала, металась, падала без чувств.

– Жена! перестань, не плачь, мне легче, не болит у меня ничего, благодарю Бога.

Елена утихла, пришла в себя.

– Государь великий князь! на кого меня оставляешь, кому детей приказываешь? – спрашивала она.

Великий князь распорядился, благословил детей – все боялся испугать их, хотел еще поговорить с Еленой, как ей жить после него, но от ее крика не успел ни одного слова сказать. Ее вывели – он поцеловал ее в последний раз.

За гробом мужа Елену везли в санях.

В числе последних предсмертных распоряжений великого князя хотя и не упоминается прямо о передаче правления земле вдове Елене, однако, видно, что самым доверенным при своей особе лицам – Михайле Юрьеву, князю Михайле Глинскому и Шигоне Поджогину – умирающий Василий приказывал, «как великой княгине быть без него и как к ней боярам ходить», – что и означало хождение с докладами по делам к Елене, как к правительнице, которая поэтому и должна была вместе с боярами «державствовать, устроить и рассуждати».

– А ты бы, князь Михайло, за моего сына, великого князя Ивана, за мою великую княгиню Елену и за моего сына Юрья кровь свою пролил и тело свое на раздробление дал, – говорил умирающий, намекая на то, что, при малютках-князьях, Елене может предстоять борьба с братьями великого князя и быть может в этой борьбе пасть от них.

Борьба эта, действительно, тотчас же обнаружилась, но благодаря энергии окружавших Елену советников и стойкости самой Елены, борьба закончилась гибелью всех великокняжеских врагов.

Едва успели похоронить Ивана Васильевича, как Елене уже докладывали об измене одного из князей Шуйских, того самого Андрея, которого за несколько дней Елена освободи-

дила из тюрьмы, куда он был посажен ее мужем за отъезд к (великому) удельному князю Юрию, брату умершего Василия Ивановича.

Елена опять посадила его под стражу.

Опасаясь больше всего Юрия, бояре советовали Елене, чтоб она велела схватить и эту главу противной партии.

– Как будет лучше, так и делайте, – отвечала Елена.

Главнейшим влиятельным лицом при Елене был Михайло Глинский; но это продолжалось только несколько месяцев. Место его занял новый любимец правительницы, князь Иван Овчина-Телепень-Оболенской. Есть известия, что он сблизился с Еленою еще при жизни Василия Ивановича, что было весьма возможно по положению, какое занимала при Елене сестра Овчины-Телепня: сестра его, Аграфена Челядина, была мамка великого князя.

Глинского легко было погубить: его обвинили в отравлении Василия Ивановича и заключили под стражу. Под стражей он скоро умер.

После этого началось сильное давление на бояр со стороны Елены, опиравшейся теперь на сильную поддержку Овчины-Телепня-Оболенского, и бояре, которых не успели схватить, бежали из Москвы.

Посадив в заточение дядю своих маленьких детей, князя Юрия, Елена поторопилась лишить свободы и другого их дядю, князя Андрея.

После похорон брата, великого князя, он жил спокойно в Москве, а после «сорочин» – сороковой день после погребения великого князя – стал собираться в свой удел Старицу и просил Елену о прибавке городов к этому уделу. Елена не дала ему городов, а только подарила на память об умершем брате несколько коней, шуб, кубков.

Андрей был обижен этим и, недовольный, уехал в Старицу. Елене обо всем донесли; прибавили даже, что он боится, чтоб его не схватили. Елена послала разуверить его. Но князь старший не верил, и просил письменного удостоверения. Ему дали и удостоверение. Тогда он воротился в Москву, чтоб лично объяснить с Еленой.

При объяснениях, он говорил правительнице, что опасается опалы, что до него доходят уж об этом слухи.

– Нам про тебя также слух доходит, – говорила с своей стороны Елена: – что ты на нас сердишься. И ты б в своей правде стоял крепко, и многих людей не слушал, да объявил бы нам, что это за люди, чтоб вперед между нами ничего дурного не было.

Андрей не выдал никого, а только сказал, что, быть может, он ошибается, что ему так показалось.

Отъехав потом в Старицу, он продолжал сердиться на Елену, которой обо всем этом доносили. Доносили даже, что старицкий князь собирается бежать. Тогда Елена с умыслом послала звать его на совет относительно задуманной войны с Казанью. Андрей отозвался болезнью и просил присылки лекаря. Елена послала к нему лекаря Феофила, который, по возвращении из Старицы, доложил Елене, что у старицкого князя болезнь пустая – болячка на стегне, а между тем он лежит в постели.

Елена начала подозревать его, и вновь послала звать на совет. Тайно же велела разведать о князе и его замыслах. Андрей вновь отозвался болезнью. Послала в третий с настоянием – то же.

– Ты, государь, – отвечал через посла Андрей своему маленькому племяннику, как государю, а не Елене, его матери: – приказал к вам с великим запрещением, чтоб нам непременно у тебя быть, как ни есть: нам, государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно, а прежде, государь, того не бывало, что нас к вам, государям, на носилках волочили. И я, от болезни и от беды, с кручины отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, пожаловал, показал милость, согрел сердце и живот мне, холопу своему,

своим жалованьем, чтобы холопу твоему вперед было можно и надежно твоим жалованьем быть бескорбно и без кручины, как тебе Бог положит на сердце.

Как ни отбивался старицкий князь, Елена захватила его вместе с его сторонниками и заключила под стражу. Через полгода он умер в тюрьме, а его сторонники были пытаны, биты кнутом, казнены торговой казнью, а иные повешены вдоль большой дороги к Новгороду на известном друг от друга расстоянии: Новгород принял было сторону князя старицкого против Елены.

Затем, в правление Елены следовали войны с Литвою, Крымом и Казанью. Насколько она лично руководила всеми этими делами – трудно сказать. Но несомненно, инициатива ее и влияние на бояр подкреплялись непосредственным влиянием и даже самовластием ее любимца Овчины-Телепня: помимо него и помимо Елены не проходило ни одно важное дело – все сосредоточивалось у Овчины, как у нравственного центра.

На Елене же, вместе с малолетним сыном, лежало и внешнее представительство, как на государыне.

Так, когда начались смуты в Казани и задумано было усмирение и покорение этого царства, Елена решила освободить из заточения бывшего казанского царя хана Шиг-Алея, который еще со времени покойного великого князя сидел в московском полону на Белоозере, с своею женой.

Шиг-Алея освобождали затем, чтоб посадить опять на казанский престол и сделать послушным орудием Москвы.

Замечателен прием Шиг-Алея у Елены. Освобожденный из ссылки Шиг-Алей просил позволения представиться великому князю и правительнице. После представления у маленького Ивана, Шиг-Алей явился к его матери. Так как это было зимой (9 января 1536 г.), то казанский царь подъехал к дворцу Елены в санях. Его встретили у саней бояре с дьяками. В сенях встретил сам великий князь с боярами. Елена принимала его при такой обстановке, при какой обыкновенно принимали послов: она окружена была боярынями; по сторонам сидели бояре.

Шиг-Алей, войдя в палату, ударил челом в землю.

– Государыня великая княгиня Елена! – обратился к правительнице казанский царь с своею, замечательною по наивной простоте, речью: – Взял меня государь мой, князь Василий Иванович, детинку малого, пожаловал меня, вскормил как щенка и жалованьем своим великим жаловал меня как отец сына, и на Казани меня царем посадил. По грехам моим, казанские люди меня с Казани сослали, и я опять к государю своему пришел: государь меня пожаловал, города дал в своей земле, а я ему изменил и во всех своих делах перед ним виноват. Вы, государи мои, меня, холопа своего, пожаловали, проступку мне отдали, меня, холопа своего, пощадили и очи свои государские дали мне видеть. А я, холоп ваш, как вам теперь клятву дал, так по этой своей присяге до смерти своей хочу крепко стоять и умереть за ваше государское жалованье, так же хочу умереть, как брат мой умер, чтоб вину свою загладить.

Елена, отвечала ему:

– Царь Шиг-Алей! великий князь Василий Иванович опалу свою на тебя положил, а сын наш и мы пожаловали тебя, милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Так ты теперь прежнее свое забывай, и вперед делай так, как обещался, а мы будем великое жалованье и бережение к тебе держать.

Царь снова ударил челом в землю, его одарили – дали шубу и другие дары, и опустили на подворье.

Тогда пожелала видеть государские очи Елены и царица, жена Шиг-Алея, Фатьма-Салтан. Правительница приняла и Фатьму.

Ханшу также встретили у саней, но только уже боярыни. В сени вышла к ней сама правительница, поздоровалась и ввела в палату.

Когда, вслед затем, в палату вошел маленький Иван, казанская царица встала, ступила с своего места, а великий князь сказал ей «привет» – «табуг салам», а потом «карашевался» – поздоровался с нею. После «карашаванья» маленький Иван сел у матери на своем великокняжеском месте, по правую руку Фатьмы-Салтан; по обе стороны его уселись бояре, по сторонам Елены – боярыни. Фатьму-Салтан Елена пригласила в себе на обед, на котором присутствовал и маленький Иван с боярами. Отпуская из своей избы ханшу, которой Елена после обеда подносила чашу, она одарила ее на дорогу.

С именем правительницы Елены связываются все как внешние, так и внутренние государственные дела московского царства до самой возмужалости Ивана Васильевича, собственно до смерти Елены. Не останавливаясь на этих делах, так как они относятся к общей истории Русской земли, а не к личной деятельности Елены, мы укажем только, что, по ее распоряжению, в 1535 году изменена монетная система в московском царстве. При муже ее обнаружено было всеобщее искажение денег – обрезы и подмеси в монете: так из «гривенки» следовало выделять 250 «денег», а между тем искажители обрезывали их до того, что из «гривенки» выходило таких обрезков до 500 и более, Исказителей монеты жестоко казнили – лили им в рот расплавленное олово, рубили руки. Елена приказала из «гривенки» чеканить 300 «денег», и, вместо изображения на «денегах» великого князя на коне с мечом, велела чеканить изображение князя с копьем в руке. Отсюда деньги получили название «копейных»; отсюда же произошла и наша «копейка».

До самой кончины Елены князь Овчина-Телепень-Оболенский оставался ее любимцем и главным советником: помимо него не докладывалось ни одно важное дело, – помимо него не решался действовать литовский гетман Радзивилл, когда искал мира с Москвою, – через него шли все «печалованья» у великого князя и его матери.

Но Елене недолго привелось править московским государством: 3 апреля 1538 года ее не стало. Современники положительно утверждают, что она была отравлена врагами. Елена умерла еще очень молодой – всего через 12 лет после своего замужества, пробыв вдовой и правительницей только пять лет.

Смерть Елены была большим торжеством для ее врагов, да и вообще для всей боярской партии, в голове которой стоял князь Василий Васильевич Шуйский; первым делом Шуйского было то, что на седьмой же день по кончине Елены он приказал схватить Овчину-Телепня-Оболенского, его сестру Аграфену Челяднину и их сторонников.

Овчина умер с голоду и от тяжести оков; сестра его была сослана в Каргополь и там пострижена.

Неистовства бояр по смерти Елены не останавливались даже в присутствии великого князя-ребенка, который все видел и все потом припомнил боярам.

«По смерти матери нашей Елены, – писал он впоследствии Курбскому, когда тот бежал в Литву, – остались мы с братом Юрьем круглыми сиротами. Подданные наши хотение свое улучили, нашли царство без правителя: об нас, государях своих, заботиться не стали, начали хлопотать только о приобретении богатства и славы, начали враждовать друг с другом. И сколько зла они наделали! Сколько бояр и воевод, доброхотов отца нашего, умертвили! Дворы, села и имения дядей наших перенесли в большую казну, неистово пихали ногами ее вещи и спицами кололи, иное и себе побрали... Нас с братом Юрьем начали воспитывать как иноземцев или как нищих. Какой нужды не натерпелись мы в одежде и в пище! Ни в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами там, как следует поступать с детьми. Одно припомню: бывало мы играем, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу на нее положить. А что сказать о казне родительской? Все расхитили... Из казны

отца нашего и деда наковали себе сосудов золотых и серебряных и написали на них имена своих родителей, как будто бы это было наследственное добро; а всем людям ведомо – при матери нашей у князя Ивана Шуйского шуба была мухояровая зеленая на куницах, да и те ветхи: так если б у них было отцовское богатство, то чем посуду ковать, лучше б шубу переменить. Потом на города и села наскочили и без милости пограбили жителей» и т. д.

Так отозвалась слишком ранняя смерть Елены на Русской земле, пока Грозный царь был еще загнанным ребенком.

Х. Анастасия Романовна Захарьина-Кошкина

В предыдущем очерке мы познакомились с некоторыми чертами из жизни маленького Ивана Васильевича, будущего Грозного: мы видели, как при матери его – Елене Глинской, к нему, еще четырехлетнему ребенку-государю, именем которого все делалось в московском государстве, могущественный дядя его, князь старицкий Андрей, относится униженно, называя себя «холопом» маленького государя, как этот ребенок по-царски принимает казанского царя Шиг-Алея, падающего перед ним на колени, и дарит его шубой, или же как по смерти Елены приближенные к нему вельможи держать своего государя-ребенка в загоне, плохо одевают и плохо кормят.

Но это продолжалось только до тех пор, пока царю-ребенку не исполнилось шестнадцать лет: это было 13 декабря 1546 года, через восемь лет после Елены Глинской.

В это время юный московский государь призывает к себе митрополита Макария и объявляет ему, что он возымел намерение жениться. Митрополит похвалил благое намерение государя-отрока, известил об этом бояр, отслужил с ними молебен в Успенском соборе и торжественно, в сопровождении князей и бояр, явился к великому князю.

Летописец говорит, что «выидоша от великого князя бояре радостны».

17 декабря Иван Васильевич вновь призвал к себе митрополита, князей и бояр, и обратился к ним с речью:

– Положив упование на милость Божию и Пречистой Его Царицы Богоматери, на молитвы и милость великих Его чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия и всех святых русских чудотворцев, а у тебя, отца своего, благословясь, помыслил я жениться там, где благословит Бог и Пречистая Его мать и чудотворцы русской земли. А сначала думал было я жениться в иных государствах, у какого-нибудь короля или царя, но теперь я эту мысль отложил и в чужих государствах жениться не хочу: оттого что после отца своего и матери остался я мал – приведу себе жену из иного государства, нравы у нас, пожалуй, будут разные, – что ж тогда будет между нами за житье? А потому, отче, хочу я жениться в своем государстве, на ком сподобит Бог, по твоему благословению.

Речь юного государя и добрые его намерения произвели такое впечатление, что все присутствовавшие плакали.

– Я грешный, благословляю тебя жениться там, где ты умыслишь по Божьей воле, – отвечал, между прочим, митрополит.

Бояре с своей стороны одобрили мысль государя.

После этого тотчас же по московскому государству разосланы были дьяки, окольничие и другие сановники искать для государя невесту – «смотреть у всех дочерей девок». Вместе с тем к иногородним князьям и боярским детям посланы были грамоты следующего содержания:

«Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых из вас будут дочери девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город в наших наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили б. Кто же из вас дочь девку утаит и к наместникам нашим не

повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоты пересылайте между собою сами, не задерживая ни часу».

Внимание наместников, смотревших царских невест, само собою разумеется, должно было быть обращено на красоту девицы, потому что это условие – «дородность», хороший цвет лица, хороший рост – как мы увидим ниже, ставилось на первом плане, когда Иван Васильевич впоследствии торжественно сватался за Екатерину, сестру короля польского, и за Марию Гастингс, племянницу английской королевы Елизаветы.

Всем помянутым условиям, как оказалось, отвечала Анастасия Романовна Захарьина-Кошкина, дочь вдовы Ульяны Федоровны Захарьиной-Кошкиной. Род Захарьиных-Кошкиных, восходивший до XIV века, считался вышедшим из Пруссии, в лице Андрея Ивановича Кобылы, которого производили из латышского племени, из рода первого будто бы латышского царя Видвунга.

Невеста, как видим, найдена была скоро, а еще скорее совершился брак молодых супругов, именно 3 февраля 1547 года. Митрополит, по случаю брачного торжества, сказал в Успенском соборе назидательное слово, а Москва, говорить летописец, долго ликовала: на всех сыпались дары, народу выставлялись обильные яства, нищих оделяли деньгами.

Но это ликованье скоро сменилось плачем: Москву постигло страшное бедствие: в три пожара, опустошительные до такой степени, что даже татарские погромы не могли сравниться в ужасах этих «пожигов» Москвы, столица московской земли выгорела почти до тла, и это было всего через несколько месяцев после царской свадьбы.

Молодые супруги оставили Москву. Анастасия все дни молилась. В молодом государе бедствие это произвело нравственный перелом, отразившийся на всей его последующей жизни.

Замечательно, что во время этих московских пожаров, в народе, без сомнения, по научению недоброжелателей покойной Елены Глинской, вспыхнула ненависть к памяти этой женщины и вообще к ее роду.

Когда производили розыск о поджигателях и когда бояре спросили черных людей: «кто поджигал город?» – черные люди закричали:

– Княгиня Анна Глинская с своими детьми волхвовала: вынимала сердца человеческие да клала в воду, да тою водою, езда по Москве, кропила – оттого Москва и выгорела.

Анна Глинская – мать Елены и бабка Ивана Васильевича, в счастье, была в это время не в Москве, а во Ржеве. Народная ярость обратилась тогда на ее сына Юрия, родного дядю Ивана Васильевича. Народ захватил и убил его в Успенском соборе, где спрятался этот несчастный брат Елены, выволок его труп из Кремля и бросил перед торгом, где обыкновенно казнили преступников. Обезумевший народ требовал и Анну, отыскал царя, шумел; но Иван Васильевич велел схватить главных крикунов и казнить: остальные толпы бунтовщиков разбежались.

Личность Анастасии вообще мало обрисовывается по оставшимся от того времени памятникам, хотя и в тех немногих чертах, которые уцелели от образа этой женщины, она представляется существом глубоко симпатичным. Иван Васильевич, имевший после нее до шести жен, никогда, по-видимому, не мог забыть своей первой привязанности, Анастасии, «своей юницы», как он называл ее в письме к врагу своему Курбскому. Летописец же говорит, «что предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякие добродетели».

Из других отрывочных известий, как бы мимоходом касающихся Анастасии, укажем следующие.

Теплая привязанность и совершенная вера в Анастасию высказывается у Ивана Васильевича тем, что собираясь в казанский поход и отъезжая на время в Коломну, царь дает своей молодой супруге широкий простор в делах благотворительности, позволяет ей освобождать людей из-под царской опалы, давать свободу заключенным, и т. д.

Когда к казанскому походу уже было все снаряжено и Иван Васильевич пришел прощаться с Анастасиею, «благочестивая царица уязвися нестерпимую скорбию и не можаше от ведаши печали стояти, и на мног час безгласна бывши, и плакася горько».

Когда торжествующий царь после казанского погрома возвращался в Москву со всею славою победителя сильного татарского царства, Анастасия предупредила приход своего мужа радостною вестью и увеличила его торжество: на дороге от Нижнего к Владимиру Ивана Васильевича встретил гонец, боярин Трахошот, который известил царя, что Анастасия родила своего первенца Дмитрия.

Когда царь воротился уже в Москву, и, после торжественной встречи, приходит к царице, Анастасии, – говорить летописец, – «здравствует государю, челом бьет о избывшемся чуде».

Но вскоре после казанского похода Иван Васильевич впадает в жестокую болезнь (1553 г.), которую летописец называет «тяжким огневым недугом», и Анастасия ставится этою болезнью в самое опасное положение: она является невинною жертвою придворных интриг, зависти, борьбы партий, недоброжелательства к её роду, и, без сомнения, она пала бы этой жертвой, если б Иван Васильевич не спасся от своей, казавшейся смертельною, болезни.

Вот в чем выразилось недоброжелательство бояр в отношении родных Анастасии, а, следовательно, и в отношении к ней самой и к ее первенцу-сыну:

У постели тяжело больного Ивана Васильевича начинаются споры о том, кому после него быть царем. Больной все это слышит. Даже любимцы его, которых он еще так недавно приблизил к себе, поднял на недостижимую для простого подданного высоту, Сильвестр и Адашев, по-видимому отшатнулись от своего умирающего царя и от его «юницы» Анастасии. Все боялись, что Анастасии именно царь передаст управление царством до совершенного возраста сына, а вместо Анастасии и ребенка-царя будут управлять её родичи, братья Анастасии Захарьины-Кошкины. Нашелся и претендент в цари – это князь Владимир Андреевич Старицкий, сын того Старицкого удельного князя Андрея, царского дяди, который жаловался, что его больного хотят «волочить» к государю-ребенку «на носилках», и которого, за измену, погубила потом Елена.

– Ведь нами владеть Захарьиным (кричали бояре в комнате больного, и он все слышал) – так чем нам владеть Захарьиным, а нам служить государю молодому, будем лучше служить старому князю Владимиру Андреевичу.

Когда все спорили, молчал один Адашев, любимец царя. Но наконец заговорил и Адашев Федор, отец царского любимца Алексея.

– Тебе, государю, и сыну твоему, царевичу князю Дмитрию, крест целуем, – говорит он, – а Захарьиным, Даниле с братьею, нам не служить: сын твой еще в пеленках, а владеть нами будут Захарьины, Данила с братьею, а мы уж от бояр в твое малолетство беды видали многие.

Тогда Иван Васильевич, обратясь к тем, которые оставались верны ему и к Анастасии с сыном, сказал:

– Мне и сыну моему вы целовали крест на том, что будете нам служить; другие же бояре не хотят видеть сына моего на государстве: так если исполнится надо мною воля Божия и я умру – не забудьте, на чем мне и сыну моему крест целовали, не дайте боярам сына моего извести, бегите с ним в чужую землю, где Бог вам укажет.

А потом, обратясь к Анастасии, больной сказал:

– А вы, Захарьины, чего испугались? Или вы думаете, что бояре вас пощадят? Вы будете от них первыми мертвецами! Так вы лучше умрите за сына моего, и за его мать, а жены моей на поругание боярам не давайте.

Испуганные этими словами бояре все присягнули, даже князь старицкий и его мать княгиня Евфросинья, которая, однако, при этом «много речей бранных говорила». Да и не удивительно: муж ее погиб такою ужасною смертью по воле Елены, матери Ивана Васильевича.

Но царь выздоровел – и кому неизвестно, как жестоко отомстил всем за себя и за Анастасию.

В 1559-м году занемогла и Анастасия тяжкою, предсмертною болезнью. Иван Васильевич возил ее по всем святым местам, молился, давал в монастыри богатые вклады, если позволяли Сильвестр и Адашев – ничто не помогало. Он желал бы обратиться к лекарям за советами – Сильвестр и Адашев, всесильные его любимцы, окончательно овладевшие волей молодого государя, не позволяли ему этого, потому что невзлюбили Анастасию за какое-то резкое или неосторожное слово.

Вот в каких трогательных выражениях сам Иван Васильевич говорить об этих последних днях Анастасии, в письмах к Курбскому, жалуясь на недоброжелательство и жестокость к Анастасии Сильвестра и Адашева, на их самовластие:

«Заболею ли я, царица, или дети – все это, но вашим словам, было наказание Божие за наше непослушание к вам. Как вспомню этот тяжелый обратный путь из Можайска с больною царицею Анастасиею! За одно малое слово с ее стороны явилась она им (Сильвестру и Адашеву) непотребна, за одно малое слово ее они рассердились. Молитвы, путешествия по святым местам, приношение и обеты во святыне о душевном спасении и телесном здравии – всего этого мы были лишены лукавым умыслом; о человеческих же средствах, о лекарствах во время болезни и помину никогда не было».

Несмотря на всю кротость Анастасии, бояре не любили ее собственно потому, что боялись преобладания ее братьев, Захарьиных-Кошкиных. Бояре сравнивали Анастасию с Евдокией, женою византийского императора Аркадия, гонительницей Иоанна-Златоуста, разумея под этим последним Сильвестра.

«На нашу царицу Анастасию, – говорит царь, – ненависть зельную воздвигше и уподобляюще ко всем нечестивым царицам... егда супротив зла вашего бысть».

Видно, однако, из этих последних слов Ивана Васильевича, что Анастасия не была безмолвной жертвой своих недоброжелателей: она им досадила и словом («сумное слово малое») и делом («супротив зла бысть»).

После поездки на богомолье, о котором говорить царь, Анастасия умерла. Это было 7 августа 1560 года.

Иван Васильевич подозревал, что она погибла от Сильвестра и его партии. В покаянной речи своей перед собором святителей Иван Васильевич, прося разрешения вступить в четвертый брак с Анною Колтовскою, говорить об Анастасии, что прожил с нею тринадцать с половиною лет; но, – прибавляет он, – «вражьим наветом и злых людей чародейством и отравами царицу Анастасию извели».

В какой мере Иван Васильевич опасался за жизнь и спокойствие Анастасии с детьми и как старался вперед оградить ее от врагов, видно из подробной записи, взятой им с своего соперника князя Владимира Андреевича Старицкого после рождения Анастасией второго сына Ивана. Вот к чему, между прочим, обязывался этою записью старицкий князь: «Если мать моя княгиня Евфросинья станет подучать меня против сына твоего, царевича Ивана, или против его матери, то мне матери своей не слушать и пересказать ее речи сыну твоему царевичу Ивану и его матери в правду, без хитрости. Если узнаю, что мать моя, не говоря мне, сама станет умышлять какое-нибудь зло над сыном твоим, царевичем Иваном, и над его матерью, над его боярами и дядьками, то мне объявить о том сыну твоему и его матери в правду, без хитрости, не утаить мне этого никак по крестному целованию. А возьмет Бог

и сына твоего царевича Ивана и других детей твоих не останется, то мне твой приход весь исправить твоей царице, великой княгине Анастасии».

Но видно, что этого обязательства он не исполнил или по отношению к Анастасии, е или относительно ее детей: княгиня Евфросинья, всегда говорившая много «бранных речей», была пострижена, а сын её, Владимир Андреевич Старицкий, казнен.

Курбский, однако, ограждает невинность недоброжелателей Анастасии, называет клеветой молву, будто Анастасию погубил Сильвестр и его друзья, и сочинителями этой клеветы называет Захарьиных-Кошкиных.

«Егда цареви жена умре, – говорит он, – Захарьевы реша, аки бы очаровали ее оные мужи (Сильвестр и Адашев), подобно чему сами искусны и во что веруют, сие на святых мужей и добрых возлагали. Царь же буйства исполнився, абие им веру ял».

Сильвестр и Адашев, узнав будто бы об этом «буйстве царя по поводу подозрения в отравлении Анастасии, посылали ему неоднократное «епистолий», чтобы он приказал расследовать это дело и обсудить. «Епистолий» этих, будто бы, Захарьины не допускали к царю, как равно не допускали и самих сочинителей эпистолий – Сильвестра и Адашева.

– Аще, – говорили будто бы царю Захарьины-Кошкины, – припустили их к себе на очи, очаруют тебя и детей твоих, а к тому любяше их к все твое воинство и народ нежели тебя самого; побьют тебя и нас камением. Аще ли и сего не будет, обвяжут тя паки и покорять тя паки в неволю себе.

Вообще же смерть Анастасии – дело очень темное.

Впоследствии Иван Васильевич прямо писал Курбскому, что они, враги его, отняли у него Анастасию: «А с женою вы меня про что разлучили? Только бы у меня не отняли юницы моя, ино бы кровавы жертвы не было» (т. е. всех тех жестокостей, которыми полна остальная, страшная жизнь Грозного).

В день похорон Анастасии, – говорит летописец, – «вси нищие а убозии со всего града приидоша на погребение не для милостыни»: – это действительно, замечательная похвала покойнице.

XI. Еще жены Грозного – законные и морганатические: Марья Темрюковна-черкешенка, Марфа Васильевна Собакина, Анна Колтовская, Марья Долгорукая, Анна Васильчинова, Василиса Мелентьева

Царь Иван Васильевич Грозный, по смерти первой супруги своей, царицы Анастасии Романовны, возымев намерение вступить во второй брак, для того, чтобы вторая супруга могла, вместо родной матери, воспитать маленьких детей его, оставленных рано умершею Анастасиею, – стал искать себе невесту, не задаваясь уже мыслью жениться исключительно на девушке из своего собственного государства, а взять хотя бы и из иных земель.

В то время, по смерти польского короля Станислава-Августа, в польской земле оставалась невестою сестра его, королевна Екатерина, и царь Иван Васильевич, отчасти по политическим расчетам, решился жениться на польской королевне.

Он спросил у митрополита – позволителен ли будет этот брак, так как тетка Грозного, Елена Ивановна, была замужем за дядей искомой царем невесты Екатерины, за великим князем литовским и королем польским Александром, – и митрополит нашел этот брак позволительным.

Тотчас же обсуждено было, как жить в Москве будущей невесте царя до перехода в православие: решено было, что на сговоре боярам с польскими панами о крещении не поминать, а начнут говорить паны, чтоб оставаться невесте в римском законе, то отговаривать

их от этого, указывая на княгиню Софью Витовтовну и на сестру Ольгерда, бывшую за князем Владимиром Андреевичем серпуховским, который крещены были в православие; а не согласятся паны, то и дела не делать.

В Польшу отправлен был послом и сватом Федор Сукин.

«Едучи тебе дорогою до Вильны, – наказано было Сукину, – разузнавать накрепко про сестер королевских, сколько им лет, каковы ростом, как тельны, какова которая обычаем, и которая лучше? Которая из них будет лучше, о той тебе именно и говорить королю. Если больше 25-ти лет, то о ней не говорить, а говорить о меньшей; разведывать накрепко, чтоб была не больна и не очень суха; будет которая больна или очень суха или с каким-либо другим дурным обычаем, то об ней не говорить – говорить о той, которая будет здорова и не суха и без порока. Хотя бы старшей было и более 25-ти лет, но если она будет лучше меньшей, то говорить о ней. Если нельзя будет доведаться, которая лучше, то говорить о королевнах безымянно, и если согласятся выдать их за царя и великого князя, то тебе непременно их видеть, лица их написать и привезти к государю. Если же не захотят показать тебе королевен, то просить парсон (портретов) их написанных».

Посол допытался, что младшая Екатерина лучше других, и начал сватовство. Паны отвечали, что, по разным политическим соображениям, дело это не может сделаться без императора австрийского и других королевских приятелей, что нужно с ними об этом сослаться.

– Мы видим из ваших слов нежелание вашего государя приступить к делу, если он такое великое дело откладывает вдаль, – сказал Сукин.

Вскоре, однако, король Сигизмунд объявил Сукину и другим послам, что он согласен на предложение царя Ивана Васильевича. Тогда послы просили позволения ударить челом будущей невесте своего государя.

– И между молодыми (незнатными) людьми не водится, – отвечали на это паны, – чтобы не решивши дела, сестер или дочерей давать смотреть.

– Не выдавши нам государыни королевны Катерины и челом ей не ударивши, что, приехав, государю своему сказать? – возражали послы. – Кажется нам, что у государя вашего нет желания выдать сестру за нашего государя!

– Есть желание, – отвечала паны: – но польские люди не позволят ее видеть, а можно видеть ее тайно, когда пойдет в костел.

Московские послы поспорили, но потом согласились.

Дело, это, впрочем, тогда ничем не кончилось, потому что поляки хотели воспользоваться этим браком для своих политических целей.

Екатерина скоро вышла замуж за Иоанна («Ягана» по-русски), герцога Финляндского, сына Густава-Вазы и брата шведского короля Эриха («Ерика»). Во время последовавшей затем войны между Иоанном и Эрихом, Иоанн был взят в плен и заключен в темницу.

Тогда полупомешанный Эрих начал предлагать царю Ивану Васильевичу выдать за него жену Иоанна, Екатерину – от живого мужа.

Явились московские послы сватать ее. Но пока послы собирались, муж Екатерины оказался уже на свободе, потому что сумасшедший Эрих его выпустил из заключения, и теперь ему самому казалось, что он в заточении. Послы ждали целый год, боясь не выполнить приказа царя. Им говорили шведские вельможи, что выдать замуж свою королеву Екатерину от живого мужа они не могут, что дело это богопротивно и бесславно. Послы отвечали:

– Государь наш берет у вашего государя сестру польского короля Катерину для своей царской чести, желает повышения над своим недругом и над недругом вашего государя, польским королем.

Послы ждут. Их под разными предлогами хотят удалить – они не едут, говорят: «везите силой, а сами не смейте. Раз приходит к ним посланец от Эриха – «детинка молод, королевский жилец»: сумасшедший король просит, чтоб московские послы взяли его с собой в Москву, укрыли бы от вельмож, его врагов.

После Эрих говорил послам:

– Я велел то дело (сватовство) посулить в случае, если Ягана (Иоанна) в живых не будет. Я с братьями, и с польским королем, и с другими пограничными государями со всеми в недружбе за это дело. А другим всем чем я рад государю вашему дружить и служить: надежда у меня вся на Бога да на вашего государя. А тому как стать, что у живого мужа жену взять?

Скоро несчастного Эриха ссадили с престола. Королем стал Иоанн. Во время смуты в Стокгольме русских послов ограбили.

После этого в Москву явились шведские послы. Им сказали:

– Если Яган король и теперь польского короля сестру, Катерину королевну, к царскому величеству пришлет, то государь и с Яганом королем заключит мир по тому приговору, как сделалось с Ериком королем: с вами о королевне Катерине приказ есть ли?

Шведские послы сказали, что нет. Им отвечали, что их сошлют в Муром – и сослали.

Раздражение дошло до крайних пределов как со стороны Москвы, так и со стороны Швеции.

Вот что Грозный писал по этому случаю шведскому королю:

«Скипетродержателя российского царства грозное повеление с великосильною заповедью!

Послы твои уродственным обычаем нашей степени величество раздражили; хотел я за твое недоуметельства гнев свой на твою землю простреть; но гнев отложили на время, и мы послали к тебе повеление, как тебе степени нашей величество умолишь. Мы думали, что ты и шведская земля в своих глупостях сознались уже; и ты точно обезумел, до сих пор от тебя никакого ответа нет, да еще выборгский твой приказчик (!) пишет, будто степени нашей величество сами просили мира у ваших послов! Увидишь нашего порога степени величество прошение этою зимою: не такое оно будет, как той зимы! Или думаешь, что по-прежнему воровать шведской земле, как отец твой через перемирье Орешек воевал? Что б тогда досталось шведской земле? А как брат твой обманом хотел отдать нам жену твою Катерину, а его самого с королевства сослали! Осенью сказали, что ты умер, а весною сказали, что тебя сбили с государства! Сказывают, что сидишь ты в Стекольне (Стокгольме) в осаде, а брат твой Ерик к тебе приступает. И то уж ваше воровство все наружу, опрометывается точно гады разными видами», и так далее: все в тех же сильных выражениях.

Шведский король отвечал на это письмо бранью. Грозный шлет ему реплику:

«Что в твоей грамоте написано лаянье, на то ответ после. А теперь своим государским высокодостоинейшей чести величества обычаем подлинный ответ со смирением (!) даем: во-первых, ты пишешь свое имя впереди нашего – это непригоже, потому что нам цесарь римский брат и другие великие государи, а тебе им братом назваться невозможно, потому что шведская земля тех государств чести ниже. Ты говоришь, что шведская

земля отчина отца твоего: так дай нам знать, чей сын отец твой Густав и как деда твоего звали и на королевстве был ли, и с которыми государями ему братство и дружба была, укажи нам это именно и грамоты пришли. То правда истинная, что ты мужичьего рода. Мы просили жены твоей Екатерины затем, что хотели отдать ее брату ее, польскому королю, а у него взять лифляндскую землю без крови; нам сказали, что ты умер, а детей после тебя не осталось: если б мы этой вашей лжи не поверили, то жены твоей и не просили. Мы тебя об этом подлинно известили; а много говорить об этом не нужно; жена твоя у тебя, никто ее не хватает. И так ты для одного слова жены своей крови много пролил напрасно, и вперед об этой безлепице говорить много не нужно, а станешь говорить, то мы тебя не будем слушать. А что ты нам писал о брате своем, Ерике, что мы для него с тобою воюем – так это смешно: брат твой Ерик нам не нужен; ведь мы к тебе ни с кем не приказывали и за него не заговаривали: ты безделье говоришь и пишешь, никто тебя не трогает с женою и с братом, ведайся себе с ними как хочешь. Спеси с нашей стороны никакой нет – писали мы по своему самодержавству, как пригоже... Если б у вас совершенное королевство было, то отцу твоему архиепископ и советники и вся земля в товарищах не были бы; послы не от одного отца твоего, не от всего королевства шведского, а отец твой в головах точно староста в волости... В прежних хрониках и летописцах писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги – немцы, и если его слушали, то его подданные были. А что просишь нашего титула и печати, хочешь нашего покорения – так это безумие: хотя бы ты назвался и всей вселенной государем, но кто ж тебя послушает!»

Это что называется – «ответ со смирением».

Тем сватовство на Екатерине и кончилось.

Между тем, пока продолжалось это оригинальное сватовство, а одновременно полемика на бумаге и война на деле с шведским королем, Грозный успел жениться во второй раз: вторую супругою его была дочь пятигорского черкесского князя Темрюка, которая была крещена перед браком с московским царем, а в крещении нарекли ее Мариною.

Это было в 1561 году.

Восемь лет жил Иван Васильевич с Марией Темрюковной; но современники ничего не сохранили нам о личности этой царицы-черкешенки и об отношениях ее к своему державному супругу. Известно только из слов самого царя, обращенных им к собору святителей перед вступлением Грозного в четвертый брак с Анною Колтовскою, что Мария-Черкешенка «вражьим коварством отравлена была», как в добродетельная Анастасия.

В 1571 году Грозный задумал жениться в третий раз.

«Подождав немало время (после смерти Марии Темрюковны), захотел я вступить в третий брак, с одной стороны для нужды телесной, с другой для детей, совершенного возраста не достигших, – говорил Иван Васильевич перед тем же собором святителей: – поэтому идти в монахи не мог; а без супружества в мире жить соблазнительно: избрал я себе невесту, Марфу, дочь Василия Собакина».

Следовательно, в избрании невесты снова должен был повториться тот же способ, какой употреблен был при избрании первой супруги царя, Анастасии Романовны Захарьиной-Кошкиной. Из нескольких тысяч русских девушек достойнейшею оказалась дочь новгородского купца Собакина, Марфа.

В невестах уже Марфа тяжело занемогла. Думали, что ее испортили родные тех девушек, княжон и боярышень, которых царь не избрал себе в супруги, ради красоты и достоинств купеческой дочери.

На этой свадьбе посаженным отцом был младший сын жениха-отца, царевич Федор Иванович, а старший сын, царевич Иван, был уже помолвлен женихом в это время.

«Но, – говорил впоследствии сам царь, – враг воздвиг ближних многих людей враждовать на царицу Марфу, и они отравили ее еще когда она была в девицах: я положил упование на всецелое существо Божие и взял за себя царицу Марфу в надежде, что она исцелится; но была она за мною только две недели, и преставилась еще до разрешения девства. Я много скорбел и хотел облечься в иноческий образ, но, видя христианство расплываемо и погубляемо, детей несовершеннолетних, дерзнул вступить в четвертый брак».

Вот все, что известно об этой бедной девушке, погибшей потому, что она слишком высоко поднялась из простой купеческой семьи.

В начале 1572 года, т. е. через несколько месяцев после смерти царицы-девушки Марфы Васильевны Собакиной, Грозный решился на четвертый брак, запрещенный церковью.

Созван был собор святителей – митрополит, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, которых царь смиренно молил о разрешении ему четвертого брачного союза. Избранная им невеста была Анна Колтовская.

– Женился я первым браком на Анастасии, дочери Романа Юрьевича, – говорил царь перед лицом собора: – и жил с нею тринадцать лет с половиною; но вражьим наветом и злых людей чародейством и отравками царицу Анастасию извели. Совокупился я вторым браком, взял за себя из черкас пятигорскую девицу и жил с нею восемь лет; но и та вражьим коварством отравлена была. Подождав немало время, захотел я вступить в третий брак, с одной стороны, для нужды телесной, с другой – для детей, совершенного возраста не достигших, потому что идти в монастырь не мог, а без супружества в мире жить соблазнительно: избрал я себе невесту, Марфу, дочь Василия Собакина; но враг воздвиг ближних моих людей враждовать на царицу Марфу, и они отравили ее еще когда она была в девицах: я положил упование на всецелое существо Божие, и взял за себя царицу Марфу в надежде, что она исцелится; но была она за мною только две недели и преставилась еще до разрешения девства. Я много скорбел, и хотел облечься в иноческий образ, но, видя христианство расплываемо и погубляемо, детей несовершеннолетних, дерзнул вступить в четвертый брак».

Видя такое смирение и великое моление царя, все плакали. Собравшись потом в Успенском соборе, святители положили: «простить и разрешить царя ради теплого умиления и покаяния, и положить ему заповедь не входить в церковь до Пасхи; на Пасху в церковь войти, меньшую дору и пасху вкусить, потом стоять год с припадающими; по прошествии года ходить к большей и к меньшей доре; потом год стоять с верными, и как год пройдет, на Пасху причаститься святых тайн; со следующего же 1573 года разрешить царю владычным по праздникам владычным и богородичным вкушать богородичный хлеб, святую воду и чудотворцевы меды; милостыню государь будет подавать сколько захочет. Если государь пойдет против своих неверных недругов за святых Божии церкви и за православную веру, то его от епитимии разрешить: архиереи и весь освященный собор возьмут ее тогда на себя. Прочие же, от царского синклита до простых людей, да не дерзнуть на четвертый брак; если же кто по гордости и неразумию вступит в него, тот будет проклят».

Какова была жизнь царя с новой супругой – мы не знаем; только через три года Анна Колтовская заключилась в монастыре.

Следуют затем морганатические жены Ивана Васильевича – не венчанные с ним, а потому и не называвшиеся царицами: это были – Марья Долгорукая, Анна Васильчикова и Василиса Мелентьева.

О первой из них известно только то, что Грозный женился на ней 11 ноября 1573 года. Можно предполагать, что Марья Долгорукая была взята Иваном Васильевичем еще при жизни своей четвертой супруги Анны Колтовской и даже до заточения ее в монастырь, так как известно, что Колтовская находилась при Грозном три года, с начала 1572, а с 1573 года собор разрешал ему только по праздникам вкушать богородичный хлеб, святую воду и чудотворцевы меды.

Жизнь Марьи Долгорукой окончилась на второй день после брака: Грозный, узнав, что его невеста прежде супружества потеряла девство, приказал «затиснуть» ее в колымагу, повезти на бешеных конях и опрокинуть в воду.

Василиса Мелентьева также недолго пользовалась привязанностью царя: она была жертвой ревности Грозного. Известное предание об этой женщине, послужившее сюжетом для драмы г. Островского мы считаем излишним здесь приводить.

XII. Мария Федоровна Нагих, последняя супруга Грозного

В сентябре 1580 года в Александровской слободе происходило восьмое и последнее брачное торжество у царя Ивана Васильевича Грозного.

Московский царь женился на дочери своего боярина Федора Федоровича Нагого, Марье Федоровне.

Многознаменательно и странно было это брачное торжество: посаженным отцом у отца-жениха был опять младший сын, царевич Федор; посаженной матерью – жена его, невестка Грозного, сестра Годунова Ирина; другой сын жениха-отца, царевич Иван – тысяцким; друзьями – князь Василий Иванович Шуйский и Борис Годунов – оба будуще цари московские! Старший сын Грозного, царевич Иван, потому был обойден в брачном торжестве первым местом – не занимал место посаженного отца у своего отца-жениха, что сам не был уже мужем первой жены, а женихом второй.

Через год после этого брака, у царя Ивана Васильевича от царицы Марьи Федоровны Нагих родился сын. Несмотря на это, а равно и на то, что царица Марья Федоровна вскоре оказалась вторично беременною, Грозный, по политическим соображениям, отправил в Англию посольство как для заключения с английскою королевою Елизаветою торгового трактата, так и с целью сватовства за себя племянницы Елизаветы, Марии Гастингс.

Сватовство это началось таким образом:

Для заключения торгового трактата с московским государством, английская королева Елизавета прислала к московскому царю своего медика Роберта Якоби, с любезным извещением, что хотя Якоби – ее собственный доктор и она в нем очень нуждается, однако, из любви к своему брату, московскому дарю, посылает к нему Якоби.

У Якоби царь Иван Васильевич спрашивал: нет ли в Англии для него невесты – вдовы или девицы. Якоби отвечал, что есть – Мария Гастингс, дочь графа Гонтингдома, племянница королеве по матери.

Царь, узнав это, приказал подробнее расспросить Якоби о «девке», и поручил это дело Богдану Вольскому и брату своей последней супруги, царицы Марии Федоровны, Афанасию Нагому.

Расспросы были настолько благоприятны, что в августе 1582 года дворянин Федор Писемский отправлен был в Англию сватом.

– «Ты бы, – должен был говорить посол английской королеве, по указу: – сестра наша любительная, Елизавета королевна, ту свою племянницу нашему послу Федору показать велела и персону б ее к нам прислала и на доске и на бумаге для того; будет она пригодится к нашему государскому чину, то мы с тобою, королевною, то дело станем делать, как будет пригоже».

Писемский должен был взять портрет и «меру роста» невесты, рассмотреть хорошенько: дородна ли королевна, бела или смугла, узнать, каких она лет, как приходится самой королеве в родстве, кто ее отец, есть ли у нее братья и сестры.

Если скажут, что царь де Иван Васильевич женат, то послу отвечать:

«Государь наш по многим государствам посылал, чтоб по себе приискать невесту, да не случилось, и государь взял за себя в своем государстве боярскую дочь не по себе; и если королевнина племянница дородна и такого великого дела достойна, то государь наш, свою оставя, сговорит за королевнину племянницу».

Писемский должен был объявить в Англии, что невеста обязывается принять греческий закон, равно как и ее свита, которая будет жить во дворе, а те, которые с нею придут и будут жить вне двора, могут оставаться в своей религии; «только некрещеным-де жить у государя и государыни на дворе ни в каких чинах не пригоже».

Писемский явился в Англию. После переговоров с министрами королевы о торговом трактате, московский посол заговорил о сватовстве; ответ королевы был таков:

– Любя брата своего, вашего государя, – говорила Елизавета, – я рада быть с ним в свойстве; но я слышала, что государь ваш любит красивых девиц, а моя племянница некрасива и государь ваш навряд ее полюбит. Я государю вашему челом бью, что, любя меня, хочет быть со мною в свойстве, но мне стыдно списать портрет с племянницы и послать его к царю, потому что она некрасива, да и больна, лежала в оспе, лицо у нее теперь красное, ямоватое; такой, как она теперь есть, нельзя с нею списывать портрета, хотя давай мне богатства всего света.

Посол согласился ждать, пока королевна Мария поправится от оспы.

В Англии между тем узнали, что от супруги московского царя родился второй сын, царевич Димитрий, и английские министры заметили об этом московскому послу. Писемский послал сказать министрам, чтоб королевна таким ссорным речам не верила: лихие люди ссорят, не хотят-де видеть доброго дела между ею и государем».

Только в мае 1583 года послу показали невесту в саду, чтоб он хорошенько мог рассмотреть ее.

Рассмотрев невесту, Писемский доносил в Москву: королевнина племянница «ростом высока, тонка, лицом бела, глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках тонкие и длинные».

После смотрин Елизавета спросила Писемского.

– Думаю, что государь ваш племянницы моей не полюбит: да и тебе, я думаю, она не понравилась?

– Мне показалось, что племянница твоя красива: а ведь дело эта становится судом Божиим, – отвечал Писемский.

Когда, после этого, Писемский возвратился в Россию, то с ним англичане отправили посла своего Боуса. Он должен был вымогать у России позволение, чтоб английские купцы получили исключительное право беспошлинно торговать с Россией. Он же должен был искусно отклонить брак Грозного на искомой им невесте, потому что Марья Гастингс напугана была известиями о характере жениха.

После переговоров с Боусом о торговле, началась речь и о сватовстве.

Царь спросил посла: согласна ли королева на его предложение.

– Племянница королевнина, княжна Мария, – отвечал Боус: – по грехам, больна: болезнь в ней великая, да думаю, что и от своей веры она не откажется: вера ведь одна христианская.

– Вижу, что ты приехал не дело делать, а отказывать, – сказал царь: – мы больше с тобою об этом деле и говорить не станем – дело это началось от задора лекаря Роберта.

Боус испугался.

– Эта племянница всех племянниц королеве дальше в родстве, – заговорил он: – да и некрасива; а есть у королевы девиц с десять ближе нее в родстве.

– Кто же это такие? – спросил Грозный.

– Мне об этом наказа нет, а без наказа я не могу объявить их имена, – отвечал Боус.

– Что же тебе наказано? – снова спросил царь. – Заключить договор, как хочет Елизавета королевна, нам нельзя.

Посла отпустили. Через доктора Якоби он снова просил позволения говорить с царем наедине. Ему позволили.

На следующий день царь спросил у Боуса, что же он намерен сказать?

– За мною приказа никакого нет, – отвечал Боус: – о чем ты, государь, спросишь, то королева велела мне слушать, да те речи ей сказать.

– Ты наши государств обычаи мало знаешь, – сказал Грозный: – так говорить посол может только с боярами, бояре с послами и спорят, кому наперед говорить: нам с тобою не спорить, кому наперед говорить. Вот если бы ваша государыня к нам приехала, то она могла бы так говорить. Ты много говоришь, а к делу ничего не приговоришь. Говоришь одно, что тебе не наказано; а нам вчера объявил лекарь Роберт, что ты хотел с нами говорить наедине: так говори, что ты хотел сказать?

– Я лекарю этого не говорил, – запирался Боус: – а у которых государей я бывал в послах прежде, у французского и у других государей, и я с ним говорил о всяких делах наедине.

– Что с тобою сестра наша наказала про сватовство, то и говори, – заметил царь: – а нам не образец французское государство, у нас не водится, чтоб нам самим с послами говорить.

– Я слышал, что государыня наша Елизавета королева мимо всех государей хочет любовь держать к тебе, а я хочу тебе служить и службу свою являть, – говорил растерявшийся Боус.

– Ты скажи именно, кто племянницы у королевы, девицы, и я отправлю своего посла их посмотреть и портреты снять, – настаивал Грозный.

– Я тебе в этом службу свою покажу, и портреты сам посмотрю, чтоб прямо их написали, – говорил Боус.

Иван Васильевич отослал его говорить с боярами.

Те тоже спросили – кто такие девицы королевны, о которых он говорил.

– Я про девиц перед государем не говорил ничего, – увертывался Боус. Его уличили в заpiresательстве.

– Я говорил о девицах, – признался несчастный посол: – только со мною об этом приказу нет. Государю я служить рад, только еще время моей службы не пришло.

На том пока и кончили – без всякой пользы для сватовства.

Наконец, еще раз Иван Васильевич позвал к себе английского посла, и решительно спросил – какой же дан ему наказ?

– Ничего не наказано, – отвечал Боус.

– Неученый ты человек! – с сердцем сказал Грозный: – как к нам пришел, то посольского дела ничего не делал... Говорил ты о сватовстве, одну девицу не хулил, о другой ничего не сказал. Но безымянно кто сватается?

Боус не нашелся что отвечать, и стал жаловаться на дьяка Щелкалова, что корм ему дает дурной – вместо кур и баранов дает ветчину, а он к такой пище не привык.

Щелкалова удалили от сношений с Боусом. Кормовщиков посадили в тюрьму. Дело не двигалось.

Но Иван Васильевич послал Богдана Бельского объясниться с Боусом, смягчить выражение – «неученый человек». Посол отвечал, что он говорил только то, что ему приказано.

Так и кончилось это неудачное сватовство; да оно было бы уж и бесполезно.

Через несколько месяцев после этого сватовства царь Иван Васильевич Грозный скончался (17 марта 1584 года). Он умер от страшной болезни: живое тело его гнило внутри и пухло снаружи; в момент неожиданно постигшей его смерти, царь, говорят, играл в шашки – и рассердился.

Царица Марья Феодоровна осталась вдовой с маленьким сыном царевичем Димитрием, а на престоле московском посажен был всенародною волею больной и телом и умом старший брат Димитрия, сын первой супруги Ивана Васильевича Анастасии Романовны, Феодор Иванович.

Вдовствующую царицу и всех ее родичей Нагих обвинили в какой-то неведомой измене. Борис Годунов, царский шурин – так как сестра его Ирина была замужем за царем Феодором Ивановичем – пользуясь болезненностью и неспособностью к делам царя, управлял государством самовластно, и ему нужно было обвинить Нагих, чтобы, вместе с матерью царевича Димитрия, будущего царя Московского, удалить из Москвы и этого маленького, но могущественного соперника своего: их удалили в Углич. У царевича Димитрия и его матери-царицы Марьи был в Угличе свой двор, своя прислуга. Ребенок-царевич был постоянно на глазах у матери: она постоянно боялась за него, подозревала, что у ребенка есть сильные и опасные враги – и рассудок и сердце матери чуяли этих врагов. Ребенок иногда игрывал на дворе со сверстниками «жильцами».

15-го мая 1591 года, играя на дворе с детьми-сверстниками своими в «тычку» (игра по образцу свайки, в ножи, бросая ими в пол или землю), больной, припадочный царевич, говорят, упал на нож, бывший у него в руках, и сам себя зарезал. Другие говорили, что его зарезали клеветы Годунова. Это, впрочем, не касается нас прямо. Как бы то ни было, но у матери, царицы Марьи, сына и царевича «не стало».

Об этих страшных минутах в жизни царицы Марьи (о которой мы исключительно и говорим) известно только следующее:

Была обеденная пора. Царица Марья находилась в своих покоях. Ее ребенок царевич пошел на двор, со своею кормилицею Ориною Ждановой Тучковою и мамкою Василисою Волоховою, играть в «тычку» с детьми-«жильцами».

Скоро на дворе раздался крик:

– Царевича не стало!

Когда царица Марья выбежала на этот крик, то Орина Тучкова держала на руках уже мертвого ребенка. В исступлении царица начала бить поленом мамку царевича Василису Волохову. Ударили в набат. Сбежался народ. Прибежали и братья царицы Нагие. Царица кричала, что царевича зарезали: сын мамки Василисы, Осип Волохов, Никита Качалов и Битяговские. Началась народная расправа: подозреваемых побили камнями.

Мать сама перенесла мертвого ребенка прямо в церковь.

Через два дня царица велела схватить еще юродивую женку, которая иногда ходила во дворец, и убить ее за то, что юродивая будто бы портила царевича.

Было потом следствие в Угличе. Его производил, по приказанию Годунова, князь Василий Шуйский, будущий царь московский. Говорят, в угоду Годунову, он так произвел следствие, что царевич признан был зарезавшимся в припадке падучей болезни.

Царица Марья и родные ее Нагие обвинены были в недостаточном смотре за царевичем, хотя царица, будто бы, после и признавалась, что ее братья Нагие согрешили – напрасно убили Битяговско-го, подозревая, что он зарезал царевича, и просила, будто бы, довести до государя челобитье о царском милосердии к ее братьям, которых она именovala бедными червями.

Как бы то ни было, но царицу Марью, за несмотрение за сыном и за убийство невинных Битяговских с товарищами, велено было постричь в инокини под именем Марфы, с ссылкой в Судин монастырь на Выксе, около Череповца. Родных ее тоже разослали по городам в ссылку. Весь Углич сослали в Сибирь и заселили город Пелым. Даже колокол, звонивший набат, сослали в Сибирь.

Вот все, что из этого смутного события известно собственно о царице Марье Федоровне: последняя супруга Грозного потеряла единственного своего сына, будущего государя московской земли, и сидела в заточении на Выксе, под иноческим клобуком и под именем старицы Марфы.

Через 13 лет после этих, конечно самых страшных и самых ужасных в жизни матери, старицы Марфы, событий, к ней в келью дошел слух, что зарезанный сын её, царевич Димитрий, жив, что он идет на Москву. Другие говорили, что это не царевич, а какой-то беглый чернец, Гришка Отрепьев, колдун, чернокнижник, а скорей – никому «неведомый» человек.

Русская земля замутилась. Неведомый Димитрий идет на Россию – войска и народ признают его за настоящего Димитрия-царевича; смертельный враг старицы Марфы Годунов, бывший уже давно царем и сидевший на том троне, на котором должен был бы сидеть её сын Димитрий, – погибает страшною смертью перед призраком ее сына. Погибает и следующий царь – сын этого царя Бориса, Федор.

Перед смертью царь Борис шлет послов к инокине Марфе. Ее везут в Москву, в Новодевичий монастырь. К ней является сам царь вместе с патриархом. Что они говорили со старицей Марфой – неизвестно; но только тотчас же разосланы были по всем землям и городам царские грамоты, что появившийся в Польше неведомый, называющий себя царевичем Дмитрием – не царевич, что царевич давно зарезался в Угличе, почти на глазах у матери, инокини Марфы, тогда еще царицы Марфы, но что явившийся неведомый человек – Гришка Отрепьев.

Старицу Марфу опять отвозят на Выксу.

Но старица Марфа слышит, что по всем городам русского царства уже присягают ей, старице Марфе, и ее сыну царевичу Димитрию, тому, холодное мертвое тело которого она держала на руках и снесла сама в церковь, а потом похоронила и оплакала – оплакивала уже ровно 14 лет.

А если это в самом деле он? Как должно было дрогнуть сердце матери... Она узнает его.

20 июня 1605 года неведомый, называющий себя царевичем Дмитрием, въехал в Москву, а 24-го возвестил России о восшествии на прародительский престол.

Что ж не едет к матери, к старице-царице Марфе?

Но вот в июле и к старице Марфе приезжает из Москвы, будто бы от ее сына «великий мечник» – звание новое, неслыханное старицею Марфою – боярин князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский, впоследствии прославленный в народе герой Русской земли смутного времени, – и старицу Марфу везут в Москву признавать в неведомом своего сына.

Старица Марфа едет. Неведомый встречается ее в селе Тайнинском. Что должна была чувствовать мать в ту минуту, когда к ней в шатер входил неведомый царь, который говорил, что он ее сын?

Свидание происходило в шатре, у большой дороги, наедине. Что они говорили и нашла ли старица Марфа в чертах неведомого человека черты своего сына – неизвестно: могла и не узнать его – ведь четырнадцать лет не видала: тогда, когда ей казалось, что она держит в руках сына с перерезанным горлышком, сына, у которого «головка с плеч покатила», ему было лет восемь, а теперь этому, который называл себя ее сыном – за двадцать... У того, помнится, не было на щеке бородавки, а у этого бородавка...

По словам почтенного историка С. М. Соловьева, старица Марфа «очень искусно представляла нежную мать; народ плакал, видя, как почтительный сын шел пешком подле кареты материнской».

Старицу Марфу поместили в Вознесенском монастыре, куда неведомый Димитрий ездил к своей матери каждый день: он-то, может быть, и был уверен, что это его мать... Но о чем они говорили каждый день – это также осталось тайной навсегда.

Прошло немного времени после этого. Из Польши приехала красавица Марина Мнишек, невеста неведомого Димитрия, и ее поместили рядом с царицей Марфой, матерью царя. Потом была у неведомого Димитрия с красавицей свадьба царская, коронование, торжество, пиры, музыка, танцы, – а там народный ропот.

Но это было недолго – всего восемь дней.

О старице Марфе опять вспомнили. Неведомого Димитрия убивают, как убили и того маленького Димитрия, сына старицы Марфы. Еще не добитый до смерти, неведомый Димитрий, на руках у разъяренных стрельцов говорит, чтоб спросили о нем у «его матери», у старицы Марфы: она скажет, что он её сын.

Но старица Марфа, говорят, не сказала.

Послали к старице. Скоро явился посланный – князь Иван Васильевич Голицын, и говорит, будто старица Марфа отрекается от этого неведомого человека, говорит, что ее сына давно убили в Угличе, это – не её сын.

Из толпы выскакивает боярский сын Григорий Валуев.

– Что толковать с еретиком! Вот я благословлю польского свистуна! – выстреливает в него и убивает.

Толпа поволокла труп по Москве. Поровнялись с Вознесенским монастырем, с окнами старицы Марфы,

Спрашивают ее:

– Твой это сын?

Старица Марфа видит безобразную массу человеческого мяса.

– Вы бы спрашивали об этом, когда он был жив: теперь, когда вы его убили, уж он, разумеется, не мой, – отвечает старица Марфа.

Труп, валявшийся на мостовой под ее окнами, был до того обезображен, что если б он и действительно был ее сын, то мать даже не узнала бы его.

Труп сжигают. Пеплом заряжают пушку и выстреливают в ту сторону, откуда этот пепел еще в виде человека пришел в Москву.

И вот еще раз вспоминают старицу Марфу, когда Шуйский всходил на престол ее сына.

Вместе с царскими и патриаршими грамотами старица Марфа рассылает по Русской земле свои грамоты.

Вот что говорит она о неведомом человеке, назвавшемся ее сыном.

«Он ведомством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Москве многих людей, а нас самих и родственников наших устранил смертию. Я боярам, дворянам и всем людям объявила об этом тайно, а теперь всем явно, что он не наш сын царевич Димитрий, а вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля на Москву, то, ведая свое воровство, по нас не посылал долгое время, а прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтоб к нам никто не приходил и с нами никто об нем не разговаривал. А как велел нас в Москве привезти, и он на встрече был у нас один, а бояр и других людей никаких с собою пускать к нам не велел, и говорил нам с великим запретом, чтоб мне его не обличать, претя нам и всему нашему роду смертным убийством, чтоб нам тем на себя

и на весь род свой злой смерти не навести, и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне также своих советников, и остерегать того велел накрепко, чтоб его воровство было не явно, а я, для его угрозы, объявить в народе его воровство явно не смела».

А скоро потом в Москву торжественно ввозили из Углича мощи царевича Димитрия, сына этой старицы Марфы.

Что должна была почувствовать эта женщина?

Часть вторая

І. Ирина Годунова

Личность Ирины Годуновой является как бы посредствующей связью между историческими женщинами эпохи Грозного и женщинами Смутного времени.

Прожив едва ли не большую половину жизни в палатах царя Ивана Васильевича, а остальную часть жизни в монастыре, Ирина до некоторой степени отразила в своей особе преобладающие качества времени Грозного: при добрых, без сомнения, душевных задатках, при неоспоримом уме, который постоянно проявлялся в заметном влиянии на дела государственные, Ирина не чужда была скрытности, неразборчивости в средствах для достижения задуманных целей (качества, может статься, унаследованные ею от своего воспитателя Грозного) и других недостатков, пагубное влияние которых на следовавшие после ее смерти события в московском государстве она сама, кажется, сознавала при конце жизни и оплакивала.

Ирина была сестра знаменитого любимца царя Ивана Васильевича и будущего царя Бориса Федоровича Годунова. Еще в детстве она предназначена была в невесты сыну Грозного, Федору Ивановичу, и с семилетнего возраста взята во двор, где и воспитывалась «при светлых очах царских».

Вероятно, царь Иван Васильевич Грозный, наученный горьким опытом своей собственной жизни, что с немногими из всех его восьми жен ему удалось быть довольным и счастливым и что не всегда выбор царской невесты может быть удачен при посредстве наместников и «смотрин», решился сам воспитать жену для своего сына, и с этой целью взял в свои палаты сестру Бориса Годунова, Ирину, еще ребенком, и заранее предназначил ее в супруги своему преемнику.

Выбор царя, по-видимому, оказался вполне удачным, потому что лучшей жены для слабого царя Федора Ивановича нельзя было найти: с ней Федор Иванович был вполне спокоен и счастлив, насколько мог быть счастлив такой человек, как царь Федор,

Когда умер Иван Васильевич и на престол вступил слабовольный и слабоумный Федор Иванович, влияние Ирины на государственные дела, несмотря на то, что этими делами самовластно управлял умный брат ее Борис, как шурин царский, – проявлялось так несомненно, что об этом влиянии знали при иностранных дворах, а потому в необходимых случаях по важным государственным делам иностранные дворы обращались прямо к Ирине.

Так, в Англии об этом значении Ирины знали от Жерома Горсея, который долго, жил в России и оставил любопытный записки о русском обществе того времени и о важнейших политических событиях.

Выше мы видели, что усилия английской королевы Елизаветы заключить с царем Иваном Васильевичем выгодный торговый трактат оказались бесполезными собственно по причине неудачного сватовства Грозного за племянницу Елизаветы Марию Гастингс.

Не отказываясь от надежды эксплуатировать богатство русской земли в пользу английской торговли, королева Елизавета решилась вновь попробовать счастья в торговых переговорах с московским государством, и потому, узнав о влиянии Ирины не только на своего мужа, царя Федора, но и на брата Бориса, а следовательно, и на государственные дела, Елизавета прислала лично ей самую любезную грамоту, в которой говорить, что часто слышит о мудрости и чести царицы Ирины, что слава об этой мудрости разнеслась по многим государствам Елизавета прислала ей даже своего доктора, уже известного нам Роберта Якоби, и прислала его собственно для Ирины, как «знатока в женских болезнях», а брата

Ирины Бориса называла в грамоте своим «кровным любительным приятелем», как переводили тогда москвичи английскую фразу; собственно в переводе означающую – «дорогой и любезный кузин» (loving cousin).

Но, при всем своем значении в государстве, Ирина чувствовала себя несчастной: подобно Соломонии Сабуровой, жене великого князя Василия Ивановича, Ирина была неплодна, а потому если и не боялась участи, постигшей Соломонию, потому что ее муж, царь Федор Иванович, не был похож на своего деда, великого князя Василия Ивановича, однако, репутация «неплодной смоковницы» не могла не причинять ей душевных страданий, особенно, когда бездетность царя сильно беспокоила подданных.

Так, бояре, может быть по своим личным расчетам, убеждали Федора Ивановича развестись с Ириной. Князь Иван Петрович Шуйский и другие бояре, московские гости и все люди купеческие согласились и утвердились рукописанием бить челом государю о разводе. Митрополит, голос которого уважался более всех в государстве, принял сторону челобитчиков. Но Борис, может статься, по своим личным соображениям, которые для всех составляли тайну, уговорил Дионисия не начинать этого дела: он поставил ему на вид то обстоятельство, что будет лучше, если царь Федор Иванович умрет бездетным, потому что, в противном случае, государство постигнут ужасы междоусобий наследников с дядей, Дмитрием-царевичем. Вероятно, уже тогда Годунов задумывал погубить Дмитрия, чтоб самому сесть на престол, и если бы у Федора Ивановича были дети, то многих или двоих соперников труднее было бы устранить.

Какие бы побуждения ни руководили Годуновым, однако, он остановил челобитье о разводе царя с его сестрой, а главных зачинщиков этого дела, Шуйских, тотчас же, по повелению царя, перехватили и заключили в тюрьмы. Начались розыски, пытки, казни – одним словом, повторилось то, к чему Годунов присмотрелся и привык еще при своем воспитателе, Грозном.

Впрочем, в 1592 году, через год после гибели в Угличе Дмитрия-царевича, у Ирины родилась дочь, которую нарекли Феодосией – «даром Божиим»; но в следующем же году ребенок умер, и Ирина опять осталась одинокой со своим жалким мужем. Она очень поражена была смертью дочери, плакала неутешно, и до нас дошло утешительное слово, которое по этому поводу писал ей патриарх Иов.

Иов указывал скорбящей Ирине на достойный подражания пример древних благочестивых Иоакима и Анны, которые тоже были неплодны, но по молитве получили благодать. «Анна – писал Иов – иде в сад свой и ста под древом, нарицаемым дафний, еже есть яблонь, и ту молитвы принося Богу со слезами о безчадствии своем: молящи же ся ей прилете птица малейшая, седе на древе том. Анна же, возревши к верху древа, хотя посмотри птичицу ту, и се виде гнездо и птичища того на гнезде сидяща, възрыда же вельми Анна и возопи гласом во Господу, глаголя: о Владыко! кому уподобил мя еси, яко и малейшия птичищы сея хужши есмь, ибо и сия птица дети имат. Люте мне, яко не уподобихся ни зверем земным, ибо и звери земныи дети родят, аз же едина безчада есмь пред тобою, Господи! Увы мне убозей: и водам аз не уподобихся» и т. д. – все то, что летописец говорил и о царе Василии Ивановиче, который плакался на неплодие Соломонии. – «Видишь ли, государыня, благоверная царица – продолжает патриарх – колико может молитва праведных, терпящих находящая их скорби, а кручиной, государыня, не взяти ничево».

Говоря вообще, жизнь царицы Ирины далеко не была весела, как она ни была любима супругом, который постоянно и неразлучно был с нею и с нею разделял все свои невинные удовольствия.

Вот как историки (С. М. Соловьев) изображают эту семейную жизнь Федора Ивановича и Ирины, а равно характер первого:

Федор был небольшого роста, приземист, опухший. Нос у него ястребиный, походка нетвердая. Он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается. Он прост, слабоумен, но очень ласков, тих, милостив и чрезвычайно набожен. Обыкновенно встает он около четырех часов утра. Когда оденется и умоется, приходит к нему отец духовный с крестом, к которому царь прикладывается. Затем крестовый дяк вносит в комнату икону святого, празднуемого в тот день, перед которой царь молится около четверти часа. Входит опять священник со святой водой, кропит ею иконы и царя. После этого царь посылает к царице спросить: хорошо ли она почивала? и через несколько времени сам идет здороваться с ней в средней комнате, находящейся между его и ее покоями; отсюда идут они вместе в церковь к заутрени, продолжающейся около часу. Вернувшись из церкви, царь садится в большой комнате, куда являются на поклон бояре, находящиеся в особенной милости. Около девяти часов царь идет к обедне, которая продолжается два часа; отдохнув после службы, обедает; после обеда спит обыкновенно три часа, иногда же только два, или отправляется в баню или смотреть кулачный бой. После отдыха идет к вечерне, и, вернувшись оттуда, большей частью проводит время с царицей до ужина. Тут забавляют его шуты и карлы мужского и женского пола, которые кувыркаются и поют песни: это самая любимая его забава; другая забава – бой людей с медведями. Каждую неделю царь отправляется на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей. Если кто на выходе бьет ему челом, то он, избывая мирской суеты и докуки, отсылает челобитчика к большому боярину Годунову.

Но вот умирает у Ирины этот добрый муж. И умирает он все так же, как жил, не изменяя себе, потому что иным он быть не мог; за решением и малого, и большого дела он всех отсылал к брату Ирины.

Так, умирая, сложил он с себя и решение важного, единственного вопроса, который непременно должен был решить он, вопроса самого великого, решение которого стоило России целых рев крови, потому что решение его было то, что у нас принято называть «Смутным временем», междуцарствием, эпохой самозванцев, одним словом – «лихолетье», как названо это время людьми, вынесшими его на своих плечах.

– Кому царство, нас сирот и царицу приказываешь? – спрашивала умирающего Федора патриарх и бояре.

– Во всем царстве и в вас волен Бог: как ему угодно, так и будет. И в царице моей волен Бог, – как ей жить, – и об этом у нас уложено.

Вот все, что слабым голосом отвечал умирающий царь.

По свидетельству патриарха Иова, присутствовавшего при смерти Федора, умирающий царь вручил скипетр супруге своей Ирине; по свидетельству же избирательных грамот или манифестов, которыми впоследствии извещалась Русская земля об избрании на царство Бориса Годунова в Михаила Федоровича Романова, – «после себя великий государь оставил свой благоверную великую государыню Ирину Феодоровну на всех своих великих государствах».

Как бы то ни было, но тотчас по кончине царя Москва спешила присягнуть царице Ирине, чтобы тем отклонить неизбежность смут, интриг претендентов на престол, кровопролития.

Но осталось свидетельство другого рода: Ирина просила умирающего мужа передать царство брату ее, Борису. Тут, если верить этому свидетельству, произошла замечательная сцена у постели умиравшего царя. Когда Ирина стала просить мужа за брата, царь предложил свод скипетр старшему из своих двоюродных братьев, Федору Никитичу Романову. Федор Никитич уступил скипетр брату своему Александру, Александр третьему брату Ивану, Иван – Михаилу, Михаил еще кому-то, так что никто не осмеливался брать скипетр, хотя каждому хотелось взять его. Царь, устав передавать жезл из рук в руки, потерял терпе-

ние и сказал: «так возьми же его, кто хочет!» Тут сквозь толпу окружавших царя особ протянул руку Годунов и схватил скипетр.

Без сомнения, это сказка; но она верна действительности, потому что, если Годунов не схватил жезл у умирающего царя, то он выхватил его из рук сестры, Ирины, которая охотно уступила скипетр умному брату.

Действительно Ирина отказалась от престола. Она изъявила свой единственную волю – постричься в монахини. Напрасно патриарх, бояре и народ умоляли ее, чтобы она не покидала их сирот до конца, оставалась бы на государстве, и править велела брату своему, Борису Федоровичу, как было при покойном государе; напрасно повторяли все эти моления: на девятый день по смерти мужа Ирина оставила дворец, переехала в Новодевичий монастырь и там постриглась под именем Александры.

Но и удаленная в монастырь, инокиня Ирина-Александра считалась царицей, и именем ее управлялась Русская земля. Патриарх с освященным собором и боярами являлись только исполнителями ее повелений, ее именных словесных указов.

Так от имени царицы-инокини Александры послан был указ князю Голицыну в таких выражениях: «Писал государыне царице – инокине Александре Феодоровне из Смоленска князь Трубецкой на князя Голицына, что тот никаких дел с ними не делает, думая, что ему меньше его, Трубецкого, быть не вместно. По царицыну указу, бояре князь Федор Иванович Мстиславской с товарищами сказывали о том патриарху Иову, и по царицыну указу писал патриарх Иов к Голицыну, чтоб он всякие дела делал с Трубецким, а не станет делать, то патриарх Иов со всем собором и со всеми боярами приговорили послать его Трубецкому головой».

Но в таком положении дела не могли долго оставаться: нельзя же было Ирине править всею Русской землею из Новодевичьего монастыря, из своей кельи, имея на голове монашеский клобук вместо шапки Мономаха, черную мантию вместо царских барм и посох вместо скипетра.

Через несколько дней после удаления ее в монастырь, дьяк Щелкалов, уже известный нам жалобами на него английского посла Боуса будто Щелкалов кормить его, вместо курятины и баранины, ветчиной, – явился к народу, который собрался в Кремле, и потребовал, чтоб народ присягнул боярской думе.

– Не знаем ни князей, ни бояр, знаем только царицу! – закричал народ.

Щелкалов отвечал, что царица в монастыре.

– Да здравствует Борис Федорович! – был ответ народа. Борис жил в это время с Ириной в Новодевичьем монастыре. Патриарх со всем духовенством, боярами и гражданами явились в монастырь и просили Ирину благословить брата на престол, просили в самого Бориса. Борис отказывался, говоря, что и помыслить об этом великом деле не смеет, что промышлять о государстве – дело патриарха и бояр.

– А если моя работа где пригодится, – заключил он свой речь: – то я за святые Божьи церкви, за одну пядь московского государства, за, все, православное христианство и за грудных младенцев рад кровь свою пролить и голову положить.

Но, между тем, иностранцы-современники сообщают, что Ирина и Борис в это время не бездействовали в монастыре; они тайно призывали к себе сотников и пятидесятников стрелецких, подкупали, лаской и обещаниями убеждали их склонить на свою сторону ратных людей и горожан.

Ирина и Борис ожидали земского собора, который должен был избрать царя.

Собор открыт был 17 февраля. В речи патриарха на первом плане стоят Ирина и ее брат. Говорилось, что царь Иван Васильевич взял Ирину в свои царские палаты еще семи лет и воспитывал ее в царских палатах до самого брака ее с царевичем Федором Ивановичем, что и брать ее Борис «также при светлых царских очах был безотступно еще с несовер-

шеннолетнего возраста», что и Иван Васильевич, умирая, «полагал» и сына своего Федора и богоданную ему дочь Ирину – все на того же Бориса, говоря, «какова мне дочь, царица Ирина, таков мне и ты, Борис»; что при царе Федоре Ивановиче все великое и доброе шло от брата царицы Ирины и что от него же «славно было государево и государынино имя от моря и до моря, от рек в до конец вселенной».

20 февраля всем земским собором снова отправились в монастырь молить Ирину и брата ее не покидать православный народ.

Со стороны Ирины и Бориса последовал новый отказ.

На другой день всенародно служили молебен и всенародно положено было идти в монастырь с иконами и крестами, а народу – с женщинами и грудными младенцами просить царицу благословить на царство своего брата; если же Ирина и Борис вновь откажут, то Бориса отлучить от церкви, а патриарху и всем архиереям снять с себя святительские облачения, сложить пангии, одеться в простые монашеские рясы и запретить службу по всем церквам.

Шествие двинулось к монастырю. Годунов ушел в келью к сестре.

В монастыре патриарх отслужил обедню, а потом все в священных одеждах, с крестами и образами, пошли в келью к Ирине. За ними шли бояре и все думные люди, а дворяне, приказные люди, гости и весь народ стояли у кельи и по всему монастырю. Вся эта масса стояла на коленях и все с плачем и рыданием вопили:

– Благочестивая царица! помилосердуй о нас: пощади, благослови и дай нам на царство брата своего Бориса Федоровича!

Ирина долго оставалась в нерешимости, наконец, заплакала и сказала:

– Ради Бога, Пречистой Богородицы и великих чудотворцев, ради воздвижения чудотворных образов, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стенания, даю вам своего единокровного брата – да будет вам государем царем.

С плачем говорил на это Годунов:

– Это ли угодно твоему человеколюбию, Владыко, и тебе моей великой государыне, что такое великое бремя на меня возложила и предаешь меня на такой превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было? Бог свидетель и ты, великая государыня, что в мыслях у меня того никогда не было – я всегда при тебе хочу быть и святое, пресветлое, равноангельское лицо твое видеть!

Ирина отвечала на это:

– Против воли Божьей кто может стоять? И ты бы без всякого прекословия, повинуюсь воле Божьей, был всему православному христианству государем.

Так Годунов был избран царем по воле народа и по благословению своей сестры, царицы-инокини Ирины-Александры.

Другие же памятники говорят, что все это делалось по уговору с Ириной, что Годунов, «яко волк оделся в одежду овчию, так долго искав, ныне стал отрицаться и по неколикократном прощении уехал к царице в Новодевичий монастырь, надеясь, что простой народ выбрать его без договора бояр принудит».

Относительно же всенародного вопля у кельи Ирины говорят: «Народ неволею был пригнан приставами, не желающих идти велено было и бить: приставы понуждали людей, чтоб с великим кричанием вопили и слезы точили. Смеху достойно! как слезам быть, когда сердце дерзновения не имеет? Вместо слез глаза слюнями мочили и неволею выли как волки. Те, которые пошли просить царицу в келью, наказали приставами когда царица, подойдет к окну, то они знаками покажут им и чтобы в ту же минуту весь народ падал на колени и все бы плакали громко; не хотевших плакать били без милости».

Думаем, что и тут есть преувеличение: об этом, конечно, говорили враги Бориса, которых у него было немало между боярами, которые, как полагают, назло ему и подняли из гроба тень убиенного царевича, воспитав в Польше невежественного проходимца.

И после избрания на царство Годунов продолжал жить у сестры в монастыре. Только 30 апреля, в мироносицкое воскресенье, он решился торжественно переехать на житье в Кремль.

Вступив в Москву, Борис обошел все соборы, ведя за руки детей своих – сына Федора и дочь Ксению, участь которой была горьче участи ее тетки Ирины, как мы это увидим ниже. О матери их, жене Бориса, Марье Григорьевне, дочери страшного Малюты Скуратова, до этого времени вообще почти не упоминалось.

Ирина же Годунова с этого момента как бы сходит с исторической сцены и о ней, по-видимому, забывают за монастырскими стенами.

Только уже в сентябре 1603 года попадаете известие, что скончалась инокиня Александра, бывшая царица Ирина. Слухи ходили, что смерть постигла ее от тоски: – Ирина слышала и видела, что недоброе что-то творится на Руси, и сама пророчила, говорят, еще большие грядущие бедствия, что ее мучила совесть за брата. Всемогуший Господь, – говорят современники, – воззвал ее к себе из юдоли плача, чтоб избавить от ужаса дожить до того, до чего дожило после нее московское государство. Ехавший за гробом сестры царь Борис чувствовал, что толпы народа, провожавшие покойницу до склепа Вознесенского монастыря – зловещий укор его тайному делу.

II. Жены Курбского: княжна Марья Юрьевна Голшанская и Александра Симашко. – Титулярная королева ливонская Марья Владимировна. – Дочери Малюты Скуратова

Мы уже познакомились с судьбой всех восьми жен царя Ивана Васильевича Грозного. Наибольшее сочувствие возбуждает в нас, конечно, судьба трех супругов Грозного: царицы Анастасии Романовны Захарьиной-Кошкиной, царицы-девицы Марфы Васильевны Собакиной и царицы Марии Федоровны.

Вслед за женами царя Ивана Васильевича справедливо должны быть поставлены, и в хронологической последовательности, и по исторической аналогии, жены его политического врага и литературного противника, беглеца Курбского.

Мы увидим, что, по сопоставлении женских личностей восточной или московской Руси с женскими личностями западной или литовской Руси, в отношении чистоты нравов, преимущество едва ли окажется на стороне женщин западной Руси: так, жена Курбского, урожденная княжна Марья Юрьевна Голшанская, по легкости нравов и по своим нравственным правилам вообще, едва ли стоила Курбского, хотя и он сам, дитя своего времени, не был чужд его пороков и странностей.

Когда Курбский покинул родину и бежал от своего грозного преследователя и царя Ивана Васильевича в Литву, в московском государстве оставалась его семья, о которой он не подумал, кажется, чтобы, спасая свой собственную жизнь от исторического костыля «грозного» царя, спасти от него и свое бедное семейство, неповинное в его проступках перед царем: в московском государстве Курбский, убегая за «рубеж», покинул старушку-мать, жену и сына ребенка.

Из сочинений самого Курбского мы знаем, что эти несчастные члены его семьи, брошенные им на жертву разгневанного царя, были заключены в темницу и «троской поморены».

В новой своей родине Курбский женился на второй жене в 1571 году, в то именно время, когда царь Иван Васильевич Грозный, на Москве, женился на больной купеческой дочери

Марфе Васильевне Собакиной. В литовской земле Курбский взял за себя замуж Марью Юрьевну Козинскую, урожденную княжну Голшанскую. До брака своего с Курбским, Марья Юрьевна имела уже двух мужей: первого – пана Молтонта, и второго – пана Козинского. От первого брака у Марьи Юрьевны осталось два сына, паны Молтонты, которые уже были взрослыми молодыми людьми, когда мать их вышла в третий раз за Курбского.

Сначала супруги жили согласно. Княгиня Курбская записала своему мужу почти все свои имения. Но это обстоятельство, вероятно, и было началом семейной вражды, которая причинила столько неприятностей Курбскому на его новой родине: пасынки его, папы Молтонты, не могли, конечно, быть довольны тем, что имения матери их перешли к вотчиму, и, желая возвратить назад материнские маетности, начали жестоко враждовать с этим вотчимом.

Дело дошло до суда. В 1577 году местным судом присланы были в имения Курбских «возные» с шляхтичами, «добрыми людьми», для «следствия по доносу пасынка Курбского, пана Молтонта. Оказалось, что один из этих пасынков, пан Андрей Молтонт, подал в суд жалобу, будто вотчим его, князь Курбский, избил свой жену, мать пана Молтонта, измучил ее и посадил в заключение, и будто от побоев и мук княгини Курбской уже нет на свете.

«Возные» нашли не княгиню Курбскую, а князя Курбского больным, в постели, а княгиня, жена его – здорова, сидит у постели больного мужа.

– Пан возный! гляди: жена моя сидит в добром здоровье, а дети ее на меня выдумывают, – сказал Курбский.

Княгине же он сказал:

– Говори, княгиня, сама.

– Что мне говорить, милостивый князь, – сам возный видит, что я сижу, – отвечала Курбская.

– Давно они мать свой морят, а она все жива, и меня еще погребет, – сказал Курбский.

– Как знать? Либо ваша милость меня погребешь, потому что плохого здоровья, – возразила княгиня.

«Возный» уехал в город. Но в тот же день, как «возный» вписывал доклад свой об этой сцене в «градские книги», Курбский подал жалобу, что жена его, княгиня Курбская, взяла из кладовой сундук, в котором хранились привилегии и другие важные бумаги, и передала все это своим сыновьям; что пан Андрей Молтонт разъезжает около имений Курбского со слугами и помощниками, ловя и подстерегая Курбского по дорогам, делая засады, умышляя даже на самую жизнь его. Вскоре потом Курбский жаловался, что пан Андрей Молтонт наехал разбоем на его землю скулинскую, сжег сторожку, сторожей побил, измучил, потопил, некоторых связал и увез с собой, бочечные доски все сжег.

Курбский объяснял притом в жалобе, что в сундуке жены своей он нашел мешочек с песком, волосами и другими «чарами», что горничная княгини Марьи Юрьевны, Раинка, показала, будто все это дала княгине какая-то старуха; но что это не отравы, а снадобье, которыми княгиня Курбская надеялась возбудить в Курбском любовь к себе, а что теперь, – показывала Раинка, – княгиня хочет повидаться с старухой и получить от нее такое же зелье – и уже не для любви, а для другого чего.

Чтобы прекратить эти неприятности, знакомые и друзья Курбского и его жены советовали им развестись.

Развод, действительно, состоялся 1 августа 1578 года – после семилетней супружеской жизни.

Но ни Курбский, ни жена его не пришли посредством этого развода к примирению.

2-го же августа, княгиня Марья Курбская подала в суд жалобу, что будто бы Курбский обходится с ней «не как с женой», посадил ее без всякой вины в заключение, бил палкой, принудил дать несколько бланковых листов с печатями и подписями княгини, и с помощью

этих бланков совершает акты ко вреду ей; что при разводе Курбский захватил движимое ее имение, силой удержал горничную Раинку, мучил ее, посадил в тюрьму и велел из.....
(в тексте оригинала пропуск).

Со своей стороны, Курбский жаловался, что когда он отправил бывшую свой жену, княгиню Курбскую, во Владимир «со всею учтивостью», в коляске четверней, то минский воевода Сапега, бывший при разводе их посредником со стороны княгини Марьи Юрьевны, велел своим слугам перебить кучеру Курбского палкой руки и ноги, удержал коляску Курбского, бранил его самого срамными словами.

В декабре этого же года Курбские опять помирились.

Княгиня Курбская объявила, что муж дал ей во всем законное удовлетворение, что она не будет начинать новых исков ни против него, ни против детей его и потомков. Горничная Раинка призналась, что все ее прежние показания против князя Курбского и княгини ложны, что делала она их по наущению других, что ее не били и не из..... (в тексте оригинала пропуск).

Такова была семейная жизнь Курбского в Литве.

Бросив потом княгиню Марью Юрьевну, старик Курбский женился в третий раз на девице Александре Семашковне (Симашко). Что это была за личность – неизвестно; но Курбский любил ее и был ею доволен, что видно и из его духовного завещания.

Но старая жена, княгиня Марья Юрьевна, конечно, из ревности к своей сопернице Александре Семашковне, жаловалась королю на незаконное расторжение брака ее с мужем.

Дело опять началось, только кончилось не в пользу старой княгини Курбской: трое из ее людей показали, что собственными глазами видели, как княгиня Курбская нарушала супружескую верность.

После этого, само собой разумеется, должна была последовать новая мировая сделка.

Неудивительно, что Курбский в изгнании тосковал о своей первой родине, о московских порядках, где он был молод и счастлив, где «троской поморена» была его первая жена.

В то время, когда Курбский в Литве ссорился с женой Марьей Юрьевной и тосковал по Москве, пересылаясь всем известными, задорными письмами с царем Иваном Васильевичем Грозным, называя его писанья «бабьими сплетнями», этот последний продолжал казнить бояр и князей-изменников, продолжал жениться и разводиться со своими женами, строил опричину, воевал с соседями, задирали своими письмами шведского короля, называя его королем «из мужичьего рода», и в то же время уничтожал все препятствия, которые могли мешать упрочению в его роде московского единодержавия.

Препятствия эти были уничтожены, кажется, с корнем. Удельные княжеские роды не существовали: последний старицкий удел потерял своего главу в князе Владимире Андреевиче, двойродном брате Грозного.

Оставалась одна только слабая тень удельной розни: тень эта была – дочери князя Владимира Андреевича Старицкого, княжна Евфимия и княжна Марья Владимировна.

Этих девушек-сироток Грозный надумал употребить орудием для своих политических целей – для расширения рубежей московского царства.

Мы видели, как царь покровительствовал сумасшедшему шведскому королю Эриху, который обещал выдать за московского государя, от живого мужа, жену своего брата Иоанна, Екатерину, королеву польскую.

У этих братьев был третий брат, королевич Магнус, принц датский. Желая сделать его орудием своих политических целей и создать в нем покорного вассала московского царства, Иван Васильевич, в постоянной борьбе с Польшею за Ливонию, решил провозгласить Магнуса ливонским королем, и предложил ему, вместе с короной Ливонии, руку своей племянницы, сиротки-княжны Евфимии Владимировны Старицкой.

Магнус рад был найти сильного зятя в московском царе и охотно принял предложение, но княжна Евфимия умерла еще в девушках. Тогда московский царь предложил королевичу Магнусу другую сестру ее – княжну Марью Владимировну.

Магнус также охотно согласился и на этот брак, и приехал в Россию. Брак скоро состоялся. Венчание княжны Марьи Владимировны с королем ливонским Магнусом назначено было в Новгороде.

В брачном наказе княжны Марьи Владимировны, между прочим, говорилось: «Венчаться королю на Пробойной улице, на Славнове, у Димитрия святого, а с королем ехать к римскому попу, а княжну обручать, и венчать дмитровскому попу; приехав к венчанью, княжне идти в церковь, а королю стать на паперти, и венчать короля по его закону, а княжну по христианскому закону».

Но недолго королевне ливонской Марье довелось жать со своим мужем: Магнус скоро умер, а королева Марья осталась в Риге «титularной королевой», королевой лишь по имени, и на руках у нее осталась маленькая дочка, королевна Евдокия.

Скоро умер и ее могущественный дядя, устроивший таким образом ее судьбу за титулярным королем Магнусом – царь Иван Васильевич Грозный, не любивший свой племянницу. Об этой нелюбви говорил впоследствии царь Михаил Федорович жениху своей дочери, царевны Ирины, датскому королевичу Вольдемару: говоря, что царь Иван Васильевич выдал свой племянницу Марью Владимировну за иноверца Магнуса, царь прибавил, что Иван Васильевич «сделал это, не жалуя и не любя племянницы своей».

По смерти и мужа, короля Магнуса, и дяди, царя Грозного, королева Мария продолжала жить в Риге под протекторатом, а скорее – под надзором врагов московского государства, польско-литовских панов, и жила как пленница, в нужде.

Но – как племя Калиты, такой же отросток царственного московского дерева, как и царевич Димитрий углецкий, титулярная королева Марья Владимировна была опасна для Годунова: умирает царь Федор Иванович бездетно, умирает или иным способом погибает царевич Димитрий, и титулярная королева Мария с королевной Евдокией получают ближайшие права на московский престол. Титулярная королева Мария или ее дочка Евдокия могли выйти замуж – и тогда муж мог быть провозглашен московским царем.

Годунову надо было, во что бы то ни стало, погубить этот последний отпрыск царственного дерева Калиты.

И вот, в августе 1585 года Борис поручил англичанину Жерому Горсею выманить ливонскую королеву с дочкой из Риги в Москву. Горсей явился в Ригу, успел войти в милость к Радзивиллу, под ближайшим надзором которого находилась ливонская королева, и тот допустил Горсея к Марии.

– Брат ваш, царь Федор Иванович, – говорил Горсей: – узнав, что вы с дочерью вашей живете в нужде, желает, чтобы вы возвратились на родину и жили в довольстве, сообразно вашему царственному рождению, а протектор Борис Федорович, помня свой службу царю, обещает вам стараться о том же.

– Я не знаю вас, – отвечала Горсею Мария: – но ваш вид внушает мне доверия более, чем сколько говорить мне о вас рассудок мой. Меня держать здесь как пленницу, на скудном содержании: я получаю тысячу талеров в год. Я бы рада была отсюда выбраться, но меня смущают некоторые обстоятельства: во-первых, трудно убежать, король и паны стерегут меня здесь, чтоб извлечь какую-нибудь пользу моего происхождения и крови; во-вторых, я знаю московские обычаи, знаю, как там поступают со вдовами-царицами: меня запрут в монастырь, а это будет мне хуже смерти.

– Теперь другие времена настали, – заверял Горсей: – теперь не принудят к тому вдовы, если у нее есть дети, которых нужно воспитывать.

Горсей при этом вручил Марии тысячу угорских червонцев, и еще обещал дать: ловкий англичанин умел настроить ее так, что она совершенно ему доверилась, особенно же, когда, без сомнения, ей так хотелось воротиться на родину. По приказу Бориса были расставлены везде лошади от Москвы до ливонской границы. Королева с дочерью-малюткой ускользнули из Риги, и переменные кони помчали их в Москву.

В Москве сначала с ними обходились хорошо, дали им землю, хорошее денежное содержание, прислугу; но через некоторое время, именем царя Федора Ивановича, ничего неведавшего о том, что в государстве его делалось, мать-королеву разлучили с дочкой и заключили в Пятницкий монастырь, близ Троицы.

В 1589 году маленькая королевна Евдокия умерла. Ребенка хоронили как королевну – по-царски. Говорят, что она была отравлена, вообще умерла неестественной смертью.

Королева Мария пострижена в инокини под именем Марфы.

Много лет потом томилась королева-старица Марфа в монастыре, вспоминая Ригу и проклиная Горсея, которому доверилась и который сам говорит об этом в своих записках.

Как бы то ни было, но племя Калиты не существовало более: последняя его отрасль королева-старица Марфа не существовала для света.

Погиб и Борис Годунов, а королева-старица Марфа продолжала сидеть в монастыре. Погиб и неведомый царь Димитрий; царь Шуйский сидел на престоле, а королева-старица Марфа все сидела в монастыре, и о ней ничего не слышно.

Только под 1609 годом мы встречаем о ней известие, из которого видим, что она не забывала своего политического значения, не забывала, что под клобуком у нее еще есть царская корона.

Троицкая лавра была осаждена поляками. В самом монастыре, как и во всей Русской земле, господствовала «шатость»: одни были за Шуйского, другие за Самозванца, за «Тушинского вора».

Сидя в монастыре, королева-старица Марфа могла думать, что неведомый Димитрий – настоящий царевич Димитрий, и следовательно – ее двоюродный брат; она могла думать, что и «тушинский вор» – то же лицо, и это лицо принадлежало ее двоюродному брату Димитрию-царевичу.

И вот, старцы Троицкого монастыря пишут царю Шуйскому грамоту, в которой говорят, что королева-старица Марфа мутит в монастыре, называет вора «братцем», переписывается с ним и с Сапегой:

«В монастыре смута большая от королевы-старицы Марфы: тебя, государь, поносит праздными словами, а вора называет прямым царем и себе братом; вмещает давно то смутное дело в черных людей. А как вору сперва пришли в монастырь, то на первой высадке казначей отпустил к вору монастырского детину службу Селевина со своими воровскими грамотами, что он монастырем промышляет, хочет сдать, а та королева с тем же детиной послала свои воровские грамоты, что промышляет с казначеем за одно, писала к вору, называя его братом, и литовским панам, Сапеге с товарищами, писала челобитье: «спасибо вам, что вы вступились за брата моего, московского государя царя Димитрия Ивановича». Также писала в большие таборы к пану Рожинскому с товарищи. А к Иосифу Девочкину посылает по вся дни с пирогами, блинами и с другими разными приспехами и оловяннками, а меды берет с твоих же царских обиходов, с троицкого погреба; и люди королевнины живут у него безвыходно и топят на него бани еженедельно, по ночам. И я, богомолец твой, королеве о том говорил, что она к твоему государеву изменнику по вся дни с питием и едой посылает; и королева за это положила на меня ненависть и пишет к тебе государю на меня ложно, будто бы я ее бесчестил и тебе бы государю пожаловать: о том свой царский указ учинить, чтобы от ее безумия святому месту какая опасность не учинилась».

Но от безумия ее, как видно, никакой опасности святому месту не учинилось. Напротив, сама королева-старица Марфа, сидевшая в монастыре вместе со старицей Ольгой Годуновой (эта бывшая царевна, красавица Ксения Годунова), пострадала от казаков и прочей вольницы Заруцкого.

В начале земского ополчения, когда, по зову Минина, русская земля поднималась на изгнание поляков из Москвы, в грамотах из Ярославля и Костромы, между прочим, писалось: «когда Ивашка Заруцкий с товарищами Девичий монастырь взяли, то они церковь Божью разорили, и черниц – королеву Марфу, дочь князя Владимира Андреевича, и Ольгу, дочь царя Бориса, на которых прежде и взглянуть не смели, ограбили до-нага, а других бедных черниц и девиц грабили и на б... брали».

В таком положении проводила последние годы своей жизни последняя отрасль царственного дома Калиты, титулярная ливонская королева, старица Марфа, последняя удельная княжна.

В это же смутное время не надолго появляются еще две женские личности и быстро исчезают: это проклятия в памяти народа дочери страшного опричника Малюты Скуратова, особенно, одна из них, бывшая замужем за князем Димитрием Ивановичем Шуйским, братом царя Василия Шуйского.

Одна из этих дочерей Малюты Скуратова, Марья Григорьевна, была замужем за Борисом Годуновым. Женщину эту называют злой, честолюбивой; она, говорят, подбивала Годунова на все недоброе; она вселяла в него дерзкие замыслы захватить московский престол, хотя бы дорога к престолу лежала по трупам невинных жертв.

Насколько это мнение справедливо – трудно решить. Современными памятниками оно подтверждается весьма слабо, да и то потому больше, что современники, записывавшие известия о тогдашних событиях, могли относиться к детям страшного опричника Малюты Скуратова с понятным недоброжелательством, и злую память отца перенесли на его детей, на девушек, которые могли быть ни в чем неповинны. Наконец, народное чувство недоброжелательно относилось и к мужу Марья Григорьевны, к Годунову, а это еще более усиливало тени, падавшие на исторический образ этой жизни.

Но злая и дурная мать, какой рисуется Марья Григорьевна, не могла воспитать таких прекрасных детей, какими во всех тогдашних письменных памятниках рисуются дети ее и царя Бориса, сын Феодор и дочь Ксения, идеальный образ которой не затемняется никакими нечистыми тенями.

Как бы то ни было, но преступлениями своего мужа – если только все преступления, приписываемые Годунову, совершены им – Марья Григорьевна достигла высоты московского престола, на который она, впрочем, и сама помогала мужу взойти так или иначе, – и на этом престоле пережила самое тяжелое время в своей жизни.

Явился неведомый Димитрий. Царь Борис оказался бессильным против этой тени погибшего царевича Димитрия, и погиб сам, оставив после себя вдову Марью Григорьевну, научавшую его будто бы на все злое, сына Федора и дочь Ксению.

Москва, ожидая к себе неведомого Димитрия, беспрекословно, однако, целовала крест вдове Годунова, царице Марье, ее сыну Федору и царевне Ксении, или, как говорилось в целовальных грамотах, «государыне своей и великой княгине Марье Григорьевне всея Руси, и ее детям, государю царю Федору Борисовичу и государыне царевне Ксении Борисовне».

Надо было присягу эту освятить благословением вдовствующей царицы, и вот Москва всенародно молит нелюбимую народом дочь Малюты Скуратова: «великую государыню царицу Марью Григорьевну молили со слезами и милости просили, чтобы государыня пожаловала, положила на милость: не оставила нас сирых до конца погибнуть, была на царстве по-прежнему, а благородного сына своего благословила быть царем и самодержцем».

«И великая государыня слез и молений не презрела, сына своего благословила».

Но недолго сидела она на престоле со своим сыном.

Когда уже неведомому Димитрию присягнули под Москвой, явились в Москву князья Василий Голицын и Василий Мосальский и дьяк Сутугов – покончить с Годуновыми, чтобы даже имена их не служили препятствием к возведению на трон неведомого Димитрия. Патриарха сослали. Других родственников Годуновых разослали тоже. Семена Годунова задушили в Переяславе.

Порешив с этими родичами Годунова, Голицын, Мосальский, Молчанов и Шелефединов с тремя стрельцами явились и в старый дом Бориса, в царские покои: царицу Марью безжалостно и скоро удавили; молодой царь Федор боролся с убийцами отчаянно, но одному из убийц удалось умертвить его самым отвратительным образом: во время схватки, убийца «взял его за таенные у... и раздави».

Но, чтобы пятно не осталось на памяти убийц, а равно на имени названная царя Димитрия, и чтобы усыпить народную совесть, объявили, что царица Марья Григорьевна и царь Федор Борисович Годунов отравились сами.

Одну Ксению пощадили из всего несчастного рода, чтобы после надругаться над ее красотой и девической невинностью.

Мало этого. Тело царя Бориса, уже похороненное в Архангельском соборе, выкопали из склепа, выбросили из царского гроба, положили в простой гроб и, вместе с телами удушенных жены и сына, зарыли в беднейшем монастыре у Варсанофия, на Сретенке.

Такова была судьба одной из нелюбимых народом дочерей Малюты Скуратова.

Другая дочь Малюты, злую память о которой народное творчество передало позднему потомству в своих поэтических произведениях, была замужем, как мы сказали, за князем Димитрием Ивановичем Шуйским.

Не сохранилось в точности даже имя этой женщины, потому что письменные памятники того времени передают это имя различно; но злое дело ее, проклинаемое народом, до сих пор в народном стихе.

Некоторые письменные памятники называют эту дочь Малюты Скуратова Марьей, смешивая, без сомнения, с сестрой, бывшей в замужестве за Борисом Годуновым; другие – Катериной и даже – вероятно по ошибке переписчика – Христиной.

Как бы то ни было, но личность этой дочери Малюты Скуратова украшается в письменных памятниках эпитетами и наименованиями такими: «злого короне злая отрасль», «древняя змее льстивая»; в народной поэзии она слывет под именем «змеи подкольной».

Злое дело, приписываемое этой дочери Малюты Скуратова – это отравление героя смутного времени, молодого вождя и народного любимца, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

Скопину-Шуйскому было всего за двадцать лет, когда успешными подвигами против врагов Русской земли, наводнивших тогдашние русские области, он заслужил такую народную любовь и приобрел в несколько месяцев такую громкую славу, какие немногим избранным счастливым даются целыми годами трудов и славных подвигов.

Эти успехи были причиной того, что у молодого героя явились смертельные враги в близких родственниках, в которых пробудилась зависть к юноше и опасение, что юноша этот станет им поперек дороги и отобьет у них и народную любовь, и московский престол: враги эти были Шуйские же, которым он приходился племянником. На крестинах у князя Воротынского они отравили Скопина-Шуйского, будто бы с помощью дочери Малюты Скуратова, тетки этого самого Скопина.

Поэтому в иных памятниках так и значится, что Михаила Скопина-Шуйского, спасителя Русской земли, испортила смертным зельем «тетка Катерина».

Псковский летописец рассказывает это событие таким образом:

«Не по мнозе ж времени сотвориша пир дядья его, не яко любви ради желяху его, но убийства. И призваша, и ядоша, и пиша. Последи же прииде к нему злого корене злая отрасль, якоже древляя змия льстивая, поиде княгиня Дмитриева Шуйского Христина (Катерина), Малютина дочь Скуратова – яко мед на языке ношаше, а в сердцы мечь скова и – прииде к нему с лестию, неся чашу меду с отравой; он же незлобивый, не чая в ней злого совета по сродству, всемь чашу, испить ю. В том же часе начат сердце его терзати; взявша его свои ему, принесоша и в дом».

В другом хронографе событию этому придается такой поэтически-риторический колорит:

«Бысть князь Михайло крестный кум (у новорожденного сына князя Ивана Михайловича Воротынского), кума же княгиня жена Дмитрия Ивановича Шуйского, Мария – дочь Малюты Скуратова. И по совету злых изменников своих и советников помышляше в уме своем злу мысль изменничью – и как будет после честного стола пир навесело, и диавольским омрачением злодейница та княгиня кума подкресная подносила чашу пития куму подкресному, и била челом, здоровалась с кресным Алексеем Ивановичем (новорожденным), и в той чаше нити уготовано лютое питье смертное. Князь Михайло Васильевич выпивает чашу досуха, а не ведает, что злое питье лютое смертное, И не в долг час у князя Михаила во утробе возмутилося и не допировал пиру почесного, и поехал к своей матушке княгине Елене Петровне, и как выходить в свои хоромы княженицкие, и усмотрела его мати и воззрила ему в ясные очи, и очи у него ярко возмутились, а лицо у него страшно кровию знаменается, а власы на главе у него стоя колеблются. И восплакалася горько мати его родимая, а во слезах говорить ему слово жалостно; «чадо мое, сын князь Михайло Васильевич, для чего рано и поздно с честного пира отъехал: любо тебе богоданный сын принял крещение не в радости, любо в пиру место тебе было не по отечеству?» – И нача утроба у него люто терзаться от того пития смертного – мати же да жена его княгиня Александра Васильевна и весь двор его слезь и горького плача и кричания исполнися. И дойде слух сия болезнь его страшная до войска и подручия, до немецкого воеводы до Якова Пунтусова. И многи дохтуры немецкие со многими лечебными присадами и не можаше бо никако болезни тоя возвратити».

Народная поэзия передает это событие различно; но главным образом народное творчество останавливается на том образе события, что будто на пиру – на крестинах бояре порасхвастались кто славой, кто богатством и подвигами; выше всех оказался молодой князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский: – его и извели с помощью дочери Малюты Скуратова.

Вот как говорится об этом событии в наиболее обстоятельной песне:

У князя было у Владимира (!),
Было пированье почетное:
Ой крестили дитя княженицкое.
Ах, кто кум – тот был, кто кума была?
Ах, кум-от был князь Михайло Скопин,

Князь Михайло Скопин, сын Васильевич,
А кума-то была дочь Скурлатова.
Они пили, ели, прохлажались,
Пивши, евши, похвалялися,
Выходили на крылечко на красное.
Уж как учили похвалу чинить князья, бояра:
Один скажет – у меня много чистого серебра,
Другой скажет – у меня больше красна золота.
Ах, что взговорит князь Михайло Скопин,
Михайло Скопин, сын Васильевич:
Еще что вы, братцы, похваляетесь?
Я скажу вам не в похвалу себе:
Я очистил царство московское,
Я вывел веру поганскую,
Я стал за веру христианскую.
То слово куме не показалось,
То крестовой не понравилось;
Наливала она чару водки крепкия,
Подносила куму крестовому;
Сам же он не пил, а ее почтил:
Ему мнилось, она выпила,
А она во рукав вылила;
Наливала еще куму крестовому:
Как выпил князь Михайло Скопин,
Трезвы ноги подломилися,
Белы руки опустилися.
Уж как брали его слуги верные,
Подхватили его под белы руки,
Повезли его домой к себе.
Как встречала его матушка:
Дитя мое, чадо милое,
Сколько ты по пирам не езжал,
А таков еще пьян не бывал...
Ах, ты гой еси, моя мать родная!
Сколько я по пирам не езжал,
А таков еще пьян не бывал:
Съела меня кума крестовая,
Дочь Малюты Скурлатова.

В других песнях говорится так о дочери Малюты в этом событии: собственно бояре подсыпали в питье отравы, а только поднесла чару дочь Малюты Скурлатова:

Поддержнули зелья лютого,
Подсыпали в стакан, в меды сладкие,
Подавали куме его крестовые,
Малютины дочи Скурлатовой.

Наконец, в одной песне Скопин-Шуйский догадывается об отраве и прямо укоряет в своей гибели «змею» подколотную – дочь Малютину:

Услышал во утробе неловко добре:
«А и ты села меня, кума крестовая,
Малютина дочь Скурлатова,
А зазнаючи мне с зельем стакан подала,
Съела ты меня, змея подколодная!»
– Голова с плеч покатилася.

Не добром кончила и сама отравительница. Когда поляки во время «лихолетья» овладели Москвой и почти всей Русской землей, они взяли в плен развенчанного царя Василия Шуйского, его братьев и жену князя Дмитрия Шуйского, дочь Малюты Скуратова, ввели их с римским триумфом в свою столицу, везли открыто, напоказ народу: в процессии московских великих пленников ехала и знаменитая дочь Малюты Скуратова.

Там пленников заточили в Гостынский замок. Там они все и перемерли от тоски: и царь Шуйский, и дочь Малюты Скуратова.

Только уже при царе Михаиле Федоровиче кости этих великих пленников, в том числе и кости дочери Малюты Скуратова были с царственными почестями перевезены на родину, в успокоенную Москву.

III. Ксения Годунова

Фамилия Годуновых появляется на историческом горизонте Русского государства каким-то метеором и таким же метеором исчезает: в голове метеора является крупная личность самого Бориса Годунова, уже достаточно оцененная и осужденная историей; при исчезновении «метеора» несколько времени довольно бледная, относительно, но в то же время и в высшей степени привлекательная женская личность, – это личность Ксении Годуновой, и затем метеор совершенно пропадает, и пропадает бесследно. Борис Федорович Годунов, любимец Ивана Васильевича Грозного и его родственник по сестре, а потом царь московский; жена Бориса, нелюбимая всеми дочь опричника Малюты Скуратова, Марья Григорьевна; сестра Бориса, Ирина, супруга царя Федора Ивановича, и, наконец, дети Бориса, Федор и Ксения: из них первый царь, а последняя – невеста принцев, а потом черничка – вот все имена, носившие фамилию Годуновых, над которыми невольно останавливается внимание историка.

Мы уже видели Ксению Борисовну, когда еще девочкой она въезжала, вместе с избранным в московские цари отцом, в кремлевский дворец, а потом в тот же день царственный отец, держа за руки ее и брата ее Федора, водил детей по московским соборам и молился с ними.

Молоденькую Ксению должна была ожидать, по-видимому, самая блестящая жизнь. Об этом счастье молилась вся Русская земля, успокоившаяся под державой отца Ксении от всех ужасов царствования Грозного.

За заздравными чашами Русская земля должна была помнить Ксению и ее брата, и желать им счастья и долгоденствия «без урыву».

Вот эта замечательная форма «здравницы» времени Годунова: провозглашая тост за здоровье царя Бориса и его семьи, всякий пьющий «чару-здравницу», должен был громко молиться, чтобы он, Борис, единый подсолнечный христианский царь и его царица и их царские дети на многие лета здоровы были и счастливы, недругам своим страшны; чтобы все великие государи приносили достойную почесть его величеству; имя его славилось бы от моря до моря и от рек до концов вселенной, к его чести и повышению и преславным к прибавлению; чтобы великие государи его царскому величеству послушны были с рабским

послужением, и от посечения меча его все страны трепетали; чтобы его прекрасноцветущие младоумножаемые ветви царского изращения в наследие превысочайшего Российского царствия были на веки и нескончаемые веки, без урыву».

К сожалению, этим «прекрасноцветущим, младоумножаемым ветвям царского изращения» скоро последовал страшный «урыв», как мы уже отчасти и видели выше, говоря о том, как погиб сам Годунов, его жена Мария с молодым сыном-царем, Федором, и его сестра Ирина.

Но несколько лет Ксении удалось быть счастливой, и она надеялась быть еще более счастливой.

Ксения вместе с братом, как дети такого умного отца, каким был Годунов, получили прекрасное, редкое по тому времени образование: от молодого Федора остались нарисованные им ландкарты. Сама Ксения была «писанию книжному искусна», отличалась красноречием, любила пение: «гласи воспеваемые любляше», как выражается тогдашний хронограф, а современник, английский бакалавр Ричард Джемс, записал тогда же песни, особенно любимые Ксенией, и ей приписываемые, о которых мы и скажем ниже.

Ксения, кроме того, была красавица. О наружности вообще и красоте Ксении, о всех ее прекрасных качествах сохранилось такое свидетельство хронографа:

«Царевна Ксения, дочь царя Бориса, была девица замечательного разума и красоты необыкновенной, бела и румяна лицом, с большими черными глазами, блиставшими светом, особенно когда в жалости обливались они слезами; брови имела сойзный; телом полна, и будто облита молочного белизной; возрастом была ни высока, ни низка; косы имела черные, большие, как трубы лежали они по плечам (это то, что в народных песнях – «косы трубчатые»); воистину во всех женах была благочиннейшая, и писанию книжному искусна; отличалась благоречием, и во всех делах была совершенна».

Естественно, что Годунов рано задумал о приискании хороших женихов для своей Ксении, чтобы замужеством дочери укрепить свой фамилию родством с знатнейшими царственными домами Европы. Вообще женихов у Ксении было много, но она осталась без мужа, в девушках до гроба.

Еще при жизни царя Федора Ивановича Годунов начал думать о женихах для Ксении, и вошел по этому поводу в сношение с сыном шведского короля Эриха XIV-го, принцем Густавом, изгнанным из родной земли и проживавшим в Италии: Борис хотел выдать за него Ксению с тем, чтобы сделать своего зятя вассальным от Москвы королем Ливонии, подобно тому, как царь Иван Васильевич хотел сделать вассальным от Москвы королем Ливонии Магнуса, выдав за него свой племянницу, княжну Марью Владимировну Старицкую. Как будущему мужу Ксении, принцу Густаву уже дали в Русской земле особый удел – Калугу и три другие города. Но Густав, как говорят, не захотел отказаться от протестантства и от женщины, которую он уже любил. За это у него отняли Калугу с тремя другими городами, назначенными ему в удельное владение, и дали один только Углич.

Тогда Годунов обратился за женихом в Данию. У короля Христиана был брат, принц Иоанн, и юноша этот согласился сделаться русским удельным князем, женившись на Ксении.

К сожалению, этот симпатичный юноша, по-видимому, оставивший такое отрадное по себе воспоминание в русских людях, знавших его, рано погиб на чужбине.

В высшей степени интересен въезд в Россию этого второго жениха Ксении.

В августе 1602 года принц Иоанн был встречен в устье Наровы боярином Михайлом Глебовичем Салтыковым и дьяком Власьевым. В Ивань-городе, датские послы, сопровождавшие принца, говорили Салтыкову:

– Когда королевич поедет из Ивань-города, будет в Новгороде и других городах, и станут королевича встречать в дороге боярские дети и княжата, то королевичу какую им честь оказывать?

– В том королевичева воля, – отвечал Салтыков: – он великого государя сын, как кого захочет пожаловать по своему государскому чину.

Но между тем Салтыков писал царю, отцу Ксении: «Когда мы приходим к королевичу челом ударить, то он, государь, нас жалует не по нашей мере, против нас встает и витается (руку дает), шляпку сняв; мы холопы ваши государские того не достойны, и потому говорили послам датским, чтоб королевич обращался с нами по вашему царскому чину и достоинству. Послы нам отвечали: королевич еще молод, а, они московских обычаев не знают: как, даст Бог, королевич будет на Москве, то, узнав московские обычаи, станет по ним поступать».

Любопытно каждодневное описание Салтыковым одежды жениха Ксении: «Платице на нем был атлас ал, делано с канителью по-немецки; шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото да серебро с канителью; чулочки шелк ал; башмаки сафьян синь».

В Новгороде жених Ксении ездил тешиться рекой Волховом вверх и иными речками до Юрьева монастыря, а едучи тешился, стрелял из самопалов, бил утят; натешившись, приехал в город поздно и стал очень весел. За столом у королевича играли по музыке, в цимбалы и по литаврам били, играли в сурны.

Еще Салтыков писал Борису: «Датские послы говорят королевичу, чтоб он русские обычаи перенимал не вдруг. Послы и ближние люди королевича на то поговаривали, чтоб от вашего царского жалованья, платица что-нибудь к брату своему послал, и королевич говорил, что ваше царское жалованье, платице, к нему первое, что он принял его с покорностью, с радостным сердцем, и послать ему вашего царского жалованья первого не годится».

Затем жених Ксении имел торжественный въезд в Москву, ласково был принят Годуновым и его сыном. Но ни царицы Марьи Григорьевны, ни невесты своей Ксении, он, по обычаю того времени, еще не должен был видеть.

Жених остался в Москве. Через некоторое время, в сентябре месяце, Годунов поехал к Троице, а уже на возвратном пути оттуда узнал, что жених Ксении опасно заболел: у принца сделалась горячка, и несчастный юноша умер 28 октября на 20 году жизни, прожив в России не более двух месяцев. Борис, говорят, сильно горевал, а. Ксения была в глубоком отчаянье: вероятно, она успела полюбить молодого человека; в народе же прошла молва, что Борис Годунов, будто бы, сам отравил Иоанна, боясь, что принца полюбили бы больше его сына, Федора, и датский принц сел бы на московский престол помимо прямого наследника Бориса.

Это, конечно, мутили уже в народе враги Годунова, и пустили эту молву.

Вообще враги и завистники Годунова много чернили не только отца Ксении, но не пощадили и имени этой несчастной девушки, которой выдалась такая горькая жизнь, тогда как жизнь эта могла бы быть полна радостей и счастья, что и сулила ей молодость.

Из челобитной князя Бориса Михайловича Лыкова, поданной уже царю Василию Шуйскому на Пожарского, видим:

«Прежде при царе Борисе, он, князь Димитрий Пожарский, доводил на меня ему, царю Борису, многие затейные доводы, будто бы я, сходясь с Голицыными, да с князем Татевым, про него, царя Бориса, рассуждаю и умышляю всякое зло; а мать князя Димитрия, княгиня Марья, в то же время доводила царице Марье на мой мать, будто моя мать, съезжаясь с женой князя Василия Федоровича Скопина-Шуйского, рассуждает про нее, царицу Марью, и про царевну Аксинью злыми словами. И за эти затейные доводы царь Борис и царица Марья на мой мать и на меня положили опалу и стали гнев держать без сыску».

«Злые слова» – это, конечно, общественные сплетни того времени, в которых замешано было и имя девушки – Ксении.

Как бы то ни было, но Ксения теряла уже второго жениха. Но еще раньше этого времени отец ее искал невест для сына и жениха для Ксении в разных государствах: и в Австрии, и в Англии, и даже у грузинских царей.

Через два года после смерти в Москве датского принца, жениха Ксении, Борис затеял, было новое сватовство – с одним герцогом Шлезвига; но это сватовство было прервано: явился неведомый проходимец, чтоб отнять у Бориса корону – и все пропало для Ксении.

Неведомый проходимец стал царевичем Димитрием. Отец Ксении умирает какой-то ужасной смертью: говорят, он сам себя отравил. Затем еще более ужасной смертью погибают мать Ксении и брат: их удавили приверженцы таинственного Димитрия. Ксения остается круглой сиротой.

Этот таинственный Димитрий в Москве. Каковы были его отношения к Ксении, которая, по его царственным претензиям, должна была приходиться племянницей этому проходимцу, как племянница царя Федора Ивановича по его жене, сестре Годунова – это остается тайной. Народ считал Ксению жертвой сластолюбия «Гришки Расстриги», потому что он застал в Москве девушку уже одну, круглой сиротой, и в качестве дяди должен был ей покровительствовать, а в качестве разнузданного властелина, каким он отчасти и был в самом деле, мог делать со своей беззащитной жертвой, что угодно.

По крайней мере до Польши дошли слухи, что неведомый Димитрий, уже сосватавший себе в невесты дочь Юрия Мнишка, Марину, в Москве воспользовался беззащитностью Ксении: говорят, что он действительно полюбил ее, что, конечно, едва ли могло быть невероятным, хотя это обстоятельство, нам кажется, не должно бросать никакой грязной тени на нравственную чистоту Ксении.

Как бы то ни было, но слухи эти ходили не только по Москве, но достигли, в самую глубь Польши, до слуха Мнишка и Марины. Марина начала ревновать своего жениха к Ксении. Мнишек, не отпуская на Москву своей дочери, несмотря на все просьбы и требования Димитрия, писал ему: «Есть у вашей царской милости неприятели, которые распространяют о поведении вашем молву; хотя у более рассудительных людей эти слухи не имеют места, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, и так как девица Ксения, дочь Бориса, живет вблизи вас, то, по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее отстранить от себя и отослать подальше».

Несчастную сиротку, действительно, отстранили и отослали далеко: ее постригли в монахини под именем Ольги и сослали в монастырь на Белоозеро.

Вот об этой-то поре жизни девушки сохранились песни, которые пела Ксения о себе самой и которые, вероятно, пели и другие девушки того времени, так как песни эти уже обращались тогда в народе. В высшей степени важно то, что песни эти пелись тогдашним русским народом еще при жизни Ксении, потому что записаны были в России англичанином, бакалавром Ричардом Джемсом в 1619-м году, а Ксения умерла в 1622-м году, через три года по отъезде Ричарда Джемса из Москвы.

В этих песнях Ксения оплакивает свои и всего своего семейства несчастья, боится, то «Гришки-растриги», который едет к Москве, «хочет ее полонить», а полонив постричь, а ей молодой девушке, в монастырь идти боязно, не хочется – «чернеческого чину ей не сдержати», захочется ей отворить «темные кельи», «посмотреть на добрых молодцев». Плачется она о своих царских теремах, о милых переходах». Плачется о том, кому достанутся их высокие хоромы, «браные убрусы», «золотая ширинки», «яхонтовые сережки» – не для чего уже будет надевать на себя эти украшения, а нужно будет. идти в темные кельи – «благословиться у игуменьи».

Но лучше мы приведем, с математической точностью, как они тогда записаны были для Джемса, – эти полные милой наивности песни, отдающие такой прелестью простоты и безыскусственности:

Сплачется мала птичка,
Белая пелепелка:
Охте мне молоды горевати!
Хотят сырой дуб зажигати,
Мое гнездышко разорити,
Мои милые дети побити,
Меня пелепелку поимати.
Сплачетца на Москве царевна:
Охте мне молоды горевати
Что едет к Москве изменник,
Ино Гришка Отрепьев рострига,
Что хочет меня полонити,
А полонив меня, хочет постритчи,
Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чину не здержати,
Отворити будет темна келья,
На добрых молотцов посмотретьи.
Ино, ох милый наши переходы,
А кому будет по вас да ходити
После царского нашего житья,
И после Бориса Годунова?
Ах, милый наши теремы,
А кому будет в вас да седети.
После царьского нашего житья
И после Бориса Годунова?

* * *

А сплачетца на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова:
Ино, Боже, Спас милосердой,
За что наше царьство загибло —
За батюшковое ли согрешенье,
За матушкино ли немоленье?
А светы бы наши высокие хоромы,
Кому вами будет владети
После нашего царьского житья?
А светы браньи убрусы,
Береза ли вами крутити?
А светы золоты ширинки,
Лесы ли вами дарити?
А свет яхонты серешки,
На сучье ли вас задевати

После царьского нашего житья,
После батюшкова преставленья,
А света Бориса Годунова?
А что едет к Москве рострига,
Да хочет теремы ломати,
Меня хочет царевну поимати,
А на Устюжну на Железную отослати,
Меня хочет царевну, постритчи,
А в решотчатой сад засадити.
Ино охте мне горевати,
Как мне в темну келью ступати,
У игуменьи благословитца.

Действительно, «расстрига» отослал Ксению-царевну только не на Устюжну, а на Белоозеро, и она должна была в темной келье затвориться навеки.

Впрочем, Ксения ненадолго появляется из темной кельи в 1606 году, когда заточивший ее в монастырь «расстрига» сам погиб страшной смертью, и пеплом от его сожженного тела выстрелили по направлению к западу, к Путивлю, к Польше – откуда он сам пришел.

На Шуйского и на его царские рати нападают полчища Болотникова, и силы Шуйского изнемогают. Первого самозванца уже не существовало, второй еще не являлся; но говорят, что он есть, что он жив. На Шуйского идет тень более страшная чем та, от которой Русская земля на время было отделалась. И вот он ищет помощи, хватается тоже за тени, за мертвых – за Годуновых: он велит вырыть их гробы, и с бедного кладбища Варсанофиевского монастыря переносить их с царским великолепием в Троицкий монастырь: для этого вызывается из монастыря своего, с Белоозера, и Ксения, теперь уж инокия Ольга. Она должна была провожать гробы отца, матери, брата. Следуя за гробами, Ксения, говорят, «по обычаю, громко вопила о своих несчастьях». Мы думаем, впрочем, что если бы даже это громкое плаканье не было в обычае, то естественно было одинокой девушке громко плакать об отце, о матери и брате, а вместе с тем и о всей своей горькой жизни, приведшей ее от трона в бедную монашескую келью.

После этого мы видим Ксению уже в Троицком монастыре: значит, и ее перевели в высшее место, поближе к гробам отца и матери. Отсюда Ксения пишет к своей тетке, и уже сама называет себя «старицей»: «в своих бедах чуть жива, совсем больна вместе с другими старицами, и вперед ни одна из них себе жизни не чаёт, с часу на час ожидают смерти, потому что у них в осаде шатость и измена великая».

Монастырь осажден поляками и толпами Тушинского вора с Заруцким – и вот Девичий монастырь взят, и воры «черниц: королеву Марфу, дочь князя Владимира Андреевича, и Ольгу (Ксению), дочь царя Бориса, на которых прежде и взглянуть не смели, ограбили донага, а других бедных черниц и девиц грабили и на б.... брали».

Это разорвали монастырь приверженцы такой же развенчанной женщины, как и Ксения – Марии Мнишек, некогда ревновавшей к Ксении своего Димитрия.

Наконец, под 1622 годом встречаем последнее известие о Ксении: она умерла.

В царской грамоте суздальскому архиепископу Арсению читаем: «Ведомо нам учинилося, его, царя Бориса Федоровича, дочери, царевны старицы Ольги не стало; по обещанию же своему, отходя сего света, приказала нам бить челом, чтобы нам пожаловати, тело ее велети погresti у Живоначальные Троицы, в Сергиеве монастыре, с отцом ее и с матерью вместе».

А в 1637 году датский король Христиан IV прислал гонца Гольмера с грамотой – за костями жениха Ксении, несчастного принца Иоанна, умершего в России. Кости жениха Ксении покоились в русской земле 35 лет.

IV. Марина Мнишек

Подобно Софье Палеолог, Софье Витовтовне, Елене Глинской и некоторым другим историческим женщинам, вошедшим в наши очерки, Марина Мнишек, по своему происхождению, не принадлежит Русской земле в тесном значении этого слова. Однако, по своей жизни и деятельности, потому что имя этой женщины связано было со всеми крупными, так сказать руководящими, событиями Смутного времени, и, наконец, по той печальной популярности, которой пользуется имя этой женщины, как «Маришки безбожницы», в русском народе, – Марина Мнишек всецело должна принадлежать русской истории и русскому народу, и потому в ряду исторических женских личностей Русской земли должна занимать одно из самых видных, хотя не почетных мест.

Но мы будем говорить о ней по возможности кратко и сжато, не вдаваясь в излишние подробности и передавая только самые существенные факты, исключительно группирующиеся около Марины, а не относящиеся до всего цикла Смутного времени, потому что в противном случае рассказ ваш о Марине Мнишек вышел бы из рамок наших кратких очерков.

Марина или Марианна родилась в богатом и знатном польском семействе. Отец ее был сендомирский воевода Юрий Мнишек, прославившийся на своей родине тем, что никто лучше его не умел потворствовать преобладающим наклонностям короля, отличавшегося большой слабостью к прекрасному полу. Вообще отец Марины был из числа людей, для которых все средства позволительны.

Младшая сестра Марины, Урсула, была замужем за князем Константином Вишневецким, братом знаменитого князя Адама Вишневецкого.

Этот Вишневецкий привез с собой однажды в Самбор, где жили Мнишки, какого-то неизвестного проходимца, неведомо откуда явившегося, который сначала был у него слугой, а потом сказался московским царевичем.

Среднего или почти низкого роста, хорошо сложен, лицо круглое, неприятное, волосы рыжеватые, глаза темно-голубые, задумчиво-грустен, даже мрачен, неловок – вот наружность проходимца, которого увидела Марина и узнала, что это московский царевич, спасшийся от убийц чудесным образом.

Красота Марины, ловкость, ум, необычайная сила воли, доказанная потом всей тяжелой жизнью этой девушки – вот что поразило молодого, страстного проходимца в том энергическом существе, которое он встретил в Самборе.

В неведомом проходимце Марина увидела свой судьбу, – и овладела его волей.

Проходимец представлен был королю в Кракове – и король признал в нем московского царевича, потому что ему выгодно было признать его таким, и назначил ему приличное содержание.

Возвратившись с Мнишком в Самбор, признанный царевич, очарованный Мариной, предложил панне руку и московский престол, который считал своим достоянием.

Названный Димитрий, говорят, долго не осмеливался решиться на это. Он был робок, неловок с Мариной.

Объяснение произошло в саду.

– Панна! моя звезда привела меня к вам, – сказал Димитрий: – от вас зависит сделать ее счастливой.

– Ваша звезда слишком высока для такой девушки, как я, – отвечала Марина.

Димитрий целует ее руку.

– Моя рука, – сказала Марина, отнимая руку: – слаба для вашего дела. Вам нужны руки, владеющие оружием, а моя может только возноситься к небу вместе с молитвами о вашем счастье.

Димитрий скоро занемог. Марина показала к нему участие.

– Поправляйтесь, – говорила она: – станьте на челе войска, победите ваших врагов, тогда подумаете, как победить мое сердце: только славными подвигами и доблестями вы меня завоюете!

Если всего этого и не было, то было что-нибудь в этом роде, потому что иначе и не могла действовать Марина, какой она проявлялась в продолжение всей своей тревожной жизни. Она овладела Димитрием всецело, она держала его в нравственной неволе даже тогда, когда он сидел уже на московском престоле, а она, его невеста, оставалась еще в Самборе, у отца. С московского престола Димитрий не забывал о Марине Мнишек, когда ему предлагали уже в жены сестру короля польского.

Мнишек, дав согласие на брак дочери с Димитрием, отложил совершение самого брака до той поры, когда жених утвердится на престоле.

Но ловкий воевода поспешил обеспечить участь Марины в будущем, 25 мая 1604 года названный Димитрий дал запись Мнишку:

Тотчас по вступлении на престол выдать отцу Марины 1.000.000 польских злотых для подъема в Москву и уплаты а долгов, а Марине прислать бриллианты и столовое серебро из царской казны.

Отдать Марине Великий Новгород и Псков со всеми жителями, местами, доходами, в полное владение, как владели прежние цари; города эти остаются за Мариной, хотя бы она не имела потомства от Димитрия, и вольна она в них судить и рядить, постановлять законы, раздавать волости, продавать их, строить католические церкви и монастыри, в которых основывать школы латинские; при дворе своем Марина вольна держать латинских духовных и беспрепятственно отправлять свое богослужение, потому что он, Димитрий, соединился уже с римской церковью и будет всеми силами стараться привести и народ свой к этому соединению. В случае, если дело пойдет несчастно и он, Димитрий, не достигнет престола в течение года, то Марина имеет право взять назад свое обещание, или, если захочет, то ждать еще год. 12-го июня Димитрия заставили дать другую запись: Уступить Мнишку княжества Смоленское и Северское в потомственное владение, а как половина Смоленского княжества и шесть городов северских отойдут к королю, по обязательству Димитрия, то Мнишек получить еще из близлежащих областей столько городов и земель, чтобы доходы с них равнялись доходам с городов и земель, уступленных королю.

Димитрий на престоле. Но Марины еще нет с ним. Ее не выпускаю из Польши, требуют от московского царя огромных уступок в пользу католичества.

Царь московский отправляешь к Сигизмунду послом Афанасия Власьева, уже известного нам по встрече им с боярином Салтыковым жениха Ксении Годуновой, несчастного датского принца Иоанна. Власьеву поручено просить короля и Мнишка отпустить Марину. Димитрий послал и секретаря своего, Бучинского, которому поручил, чтоб он выпросил у папского легата позволение Марине причаститься у обедни из рук патриарха, а иначе она не будет считаться коронованною, чтобы позволили ей ходить в греческую церковь, а втайне оставаться католичкой, чтобы в субботу она ела мясо, а в среду постилась и голову убирала бы по-русски.

Сигизмунд сказал Власьеву, что государь московский может вступить в брак более сообразно с его величием и что он поможет ему в этом деле.

У Марины являются уже сильные соперницы.

Но Власьев сказал королю, что царь не изменит никогда своему обещанию.

Сигизмунд хотел женить Дмитрия на своей сестре или на княжне трансильванской – вот какие соперницы явились у Марины!

Но к Сигизмунду приехал какой-то швед из Москвы, от царицы-старицы Марфы, матери Дмитрия углецкого, с тайными вестями, что сидящий на московском престоле – не ее сын. Сигизмунд сказал об этом Мнишку. Тот замедлил отпущение Марины в Москву.

Но при всем том, 12 ноября происходило уже обручение Марины в Кракове с послом Власьевым, изображавшим лицо жениха-царя. Обручение было пышно, торжественно, в присутствии короля, кардинала и сановников.

Марина была в белом алтабасовом платье, унизанном жемчугами и драгоценными камнями; на голове у нее блеснула бесценная корона, а от короны по распущенным волосам скатывались нити жемчуга, перемешанного с бриллиантами.

Говорились речи послом Власьевым, канцлером Сапегой, кардиналом. Запели «#eni, Creator» – и началось обручение.

Власьев, говорят, смешил всех некоторыми странными выходками. Кардинал спрашивал: не давал ли царь обещаний другой женщине?

– А мне как знать? О том мне ничего не наказано! – отвечал будто бы Власьев.

Но от него потребовали решительного ответа. Тогда Власьев отвечал:

– Коли б обещал другой невесте, то и не послал бы меня сюда.

Затем кардинал велел послу говорить за собой, по форме, клятвенное обещание на латинском языке. Поляки удивились, что Власьев произносит правильно – он знал полатыни. Далее он остановился и сказал:

– Панне Марине говорить имею я, а не ваша милость.

И он сказал ей обет от имени царя, Марина царю – от себя.

Из уважения к особе будущей царицы, Власьев никак не решился взять Марину просто за руку, но непременно хотел прежде обернуть свой руку в чистый платок, и всячески остерегался, чтобы платье его никак не прикасалось к платью сидевшей подле него Марины. Когда за столом король уговаривал его есть, то он отвечал, что холопу неприлично есть при таких высоких особах, что с него довольно чести смотреть, как они кушают. Марина тоже ничего не ела за обедом. Зато Власьев пил за здоровье обрученных. Ясно после этого, с каким негодованием он должен был смотреть, когда Марина стала на колени перед королем, чтобы благодарить его за все милости: посол громко жаловался на такое унижение будущей царицы московской.

Благодаря короля, Марина плакала. Она не знала, что придется ей заплакать и не такими слезами.

Власьев требовал немедленного выезда невесты. Но Мнишек жаловался на недостаток денег, хотя Дмитрий прислал ему большие суммы и просил не жалеть издержек.

Но у Мнишка и Марины были свои причины медлить. Мнишек писал Дмитрию о каких-то недоброхотах, о сплетнях. Может быть, то, о чем он писал Дмитрию, действительно были сплетни, но они стали историческим достоянием.

«Есть у вашей царской милости неприятели, писал отец Марины, которые распространяюсь о поведении вашем молву. Хотя у более рассудительных людей эти слухи не имеют места, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, и так как девица Ксения, дочь Бориса, живет вблизи вас, то, по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее устранить от себя и отослать подальше».

Говорили о том, будто Дмитрий полюбил Ксению. И вот у Марины новая соперница. Но Дмитрий тотчас постриг несчастную девушку в монахини под именем Ольги и сослал на Белоозеро в монастырь, о чем мы уже и говорили выше. Вообще отношения Дмитрия к Ксении остаются неразгаданной тайной.

Димитрий часто пишет к невесте; но Марина не отвечает на его письма, сердясь за Ксению, ревнуя его к русской красавице, уже накрывшей свои «трубчатые косы» черным кlobуком.

Власьев, не дождавшись царской невесты, уехал в Слоним и там ждал ее приезда вместе с другими царскими послами.

«Сердцем и душой скорблю, писал он Мнишку, и плачу о том, что все делается не так, как договорились со мной и как, по этому договору, к царскому величеству писано: великому государю нашему в том великая кручина, и думаю, что на меня за это опалу свою положить и казнить велит. А по цесарского величества указу, на рубеже для великой государыни нашей цесаревны и для вас присланы ближние бояре и дворяне и многий двор цесарский, и, живя со многими людьми и лошадьми на границе, проедаются».

Димитрий льстил даже Сигизмунду, чтобы скорей выманить Марину:

«Мы хотим отправить наших великих послов на большой сейм (писал он); но теперь отсрочили это посольство, потому что прежде хотим поговорить о вечном мире с вельможным паном Юрием Мнишком».

Даже пришедших с ним поляков Димитрий задержал в Москве, боясь, что не выпустят Марину. Бучинскому он велел на все соглашаться, лишь бы панну выпустили из Польши.

Но католики боялись, чтобы Дмитрий не бросил Марину, – и вот тайные агенты их и письма полетели во все места.

Папа Климент VIII и Павел V писали ко всем: к Димитрию, к Марине, к легатам.

«Мы не сомневаемся, писал папа Димитрию, что, так как ты хочешь иметь сыновей от этой превосходнейшей женщины, рожденной и свято-воспитанной в благочестивом католическом доме, то хочешь также привести в лоно римской церкви и народ московский... Верь, что ты предназначен от Бога к совершению этого спасительного дела, причем большим вспоможением будет для тебя твой благороднейший брак».

Папа так торопился, что приказал патеру Савицкому обвенчать Марину тайно в великий пост.

Все надежды католичества и Польши покоились таким образом на Марине.

В другом письме папа писал самой Марине: «Теперь-то мы ожидаем от твоего величества всего того, чего можно ждать от благородной женщины, согретой ревностью к Богу. Ты, вместе с возлюбленным сыном нашим, супругом твоим, должна всеми силами стараться, чтобы богослужение католической религии и учение Св. апостольской церкви были приняты вашими подданными и водворены в вашем государстве прочно и незыблемо. Вот твое первое и главнейшее дело».

Наконец Марина в сопровождении огромной свиты родных и знакомых выехала из Самбора в Московское царство, чтобы там быть царицей всего народа и наконец погибнуть, так и не увидев более своей родины.

3-го мая 1606 года Марина с большой пышностью въехала в Москву.

* * *

Для того, чтобы вполне понять, что должна была пережить и перечувствовать молоденькая девушка, из простых шляхтянок поднявшаяся до трона и потом потерявшая мужа, когда еще не кончилось брачное утратившая корону, упавшая до нищеты, до всяких унижений и оскорблений, до положения беглянки, скитающейся где-то на Яике с одним оставшимся ей верным казаком Заруцким – какой громадный запас воли должна была иметь женщина, вынесшая все, что вынесла Марина. Мы позволим себе привести здесь описание самых торжественных минут в жизни Марины – въезд в Москву, коронованье и венчанье, чтобы потом видеть весь контраст между положением ее от 6 до 15 мая, до дня страшной

катастрофы в ее жизни, и между положением ее в стане «Тушинского вора», в Калуге, наконец, на Дону, на Волге, в Астрахани, на Яике и – опять в Москве, в тюрьме.

Когда Марина въезжала в Москву, то по обеим сторонам дороги стояли рядами стрельцы в красных суконных кафтанах с белыми перевязями на груди и держали длинные ружья с красными ложами; далее стояли в два ряда конные стрельцы и дети боярские; на одной стороне были с луками и стрелами, на другой с ружьями, привешанными к седлам; они также были одеты в красные кафтаны. Потом стояли двести польских гусар, под начальством Домарацкого, на конях с пиками, у которых древки были раскрашены красной краской, а близ острия были привязаны белые знаки. Поезд должен был ехать между рядами этих воинов. Поляки били в литавры и играли на духовых военных инструментах. Вступив в Москву, поезд следовал через Земляной город, потом въехал Никитскими воротами в Белый, оттуда в Китай-город, на Лобное место и, наконец, в Кремль.

Впереди всех ехали те дворяне и боярские дети, которые высылаемы были на границу для встречи Марины. Потом шли пешие польские гайдуки, или стрелки, числом триста; за плечами у них были ружья, а при боке сабли – «карабели». Они были одеты в голубые жупаны с серебряными нашивками и с белыми перьями на шапках – «магирках» – народ все рослый, на подбор. Гайдуки играли на трубах и били в барабаны. За ними ехали двести польских гусар, по десять человек в ряд, на статных венгерских конях, с крыльями за плечами, с позолоченными щитами, на которых виднелись изображения драконов, и с поднятыми вверх копьями; на одних из этих копий были белые, на других красные значки. За ними вели двенадцать лошадей, посланных женихом в дар Марине. За ними следовали паны, сопровождавшие отца Марины: тут были князья Вишневецкие, Тарлы, трое Отаднических, Любомирский, Немоевский, Лаврины и другие, каждый со своей асистенцией, и каждый хотел выказаться перед многочисленной толпой своим нарядом, нарядом слуг и убранством коней. Сзади всех их ехал верхом Мнишек в малиновом жупане, опушенном соболями, в шапке с богатым пером; шпоры и стремяна, были золотые с бирюзой. За Мвишком следовал арап, одетый по-турецки.

Тут уже, за отцом, ехала дочь, Марина, в карете, запряженной десятью лошадьми – все белой масти с черными яблоками. На козлах не было кучеров, но каждую лошадь вел за узду особый конюх, и все десять конюхов одеты были одинаково. Карета снаружи была окрашена красной краской с серебряными накладками, колеса ее были позолочены, а внутри она была обита красным бархатом. В ней на подушках, по краям унизанных жемчугом, в белом атласном платье, вся осыпанная камнями и жемчугами, сидела Марина вдвоем со старостиной сохачевской.

Не будем говорить о каретах, следовавших за Мариной: то был ее двор, свита, слуги. Народ валил толпами. Тут были персы, арабы, турки, грузины, татары, не говоря уже о тысячах московского люда. В толпе находился и царь, ожидавший невесту и смотревший на ее поезд, как частное лицо. Марина въехала в Вознесенский монастырь, где жила царица-старца Марфа: – это невеста царя делала первый визит его матери.

Через пять дней, 8 мая, коронование и венчание: следование Марины с царем в торжественной процессии в Успенский собор в сопровождении рындов с серебряными тополами на плечах; возведение Марины патриархом на трон, возложение на нее барм, диадемы и короны, а потом цепи Мономаха; помазание на царство, венчание и, наконец, свадебное торжество, пиры, балы, танцы; все это должно было казаться волшебным сном, пробуждение от которого последовало так скоро – 16 мая!

На одни дары Марине Димитрий издержал в эти дни до 4.000.000 рублей.

Когда брачный пир кончился и вечером молодых повели в спальную комнату, у царя из перстня на пальце выпал дорогой камень и его не могли отыскать... Пустое, но зловещее предзнаменование...

Так весело началось для Марины московское житье и московское царствование; но не долго пришлось ей царствовать, не долго веселилась она.

Глухое неудовольствие уже крылось под спудом, в народе. Искру раздували те, которым хотелось самим сесть на месте проходимца и польки, сидевших на столе Ярослава, Мономаха, Дмитрия Донского, Ивана Калиты, Ивана Грозного.

Народ уже проведал, что Марина тайная католичка. Шепталось и громко говорилось, что венчание и свадьба были 8 мая, под пятницу, под Николин день. Царь и царица едят телятину, не вместе ходят в баню.

Кремль занят поляками – там сидят близкие и слуги Марины. Поляки ведут себя нагло. Начали поговаривать о «польке поганой».

Ровно неделю царствовала эта полька! Вся жизнь – из-за восьми дней!..

К утру с 16-го на 17-е мая все было покончено с мужем Марины. В роковую минуту он спал около жены и, услышав набат, вскочил с постели, выбежал – и узнал в чем дело.

Когда Дмитрий увидел, что заговорщики ворвались уже во дворец, он бросился к покоям Марины, и через окно мог закричать ей: «сердце «мое, зрада!» Сам же выскочил из окна и разбился с пятнадцатисаженной высоты. Там его скоро dokonчили.

Заговорщики ворвались в повои царицы, но там ее уже не было: проснувшись от крика мужа, она успела спрятаться в подвале. Приближенные просили Марину выйти оттуда, и она, не будучи узнана толпой, снова пробралась наверх: на пути она была даже столкнута с лестницы хлынувшей туда толпой – ее не узнали!

Марина спряталась в своей комнате. В тот момент у дверей показались заговорщики. Ян Осмульский, молоденький паж Марины, долго сдерживал разъяренную толпу, но был убит, и через его уже труп толпа хлынула в царицын покой.

– Где царь и царица? – с ругательствами кричала толпа, ввалившаяся в ту самую комнату, где была Марина.

Маленькая и худенькая, она, говорят, спряталась под юпку своей «охмистрины», подобно той исторической собачке, которая от страха спряталась под платье Марии Стюарт, когда ее казнили, и лизала кровь своей госпожи, капавшую с эшафота.

– Где царь и царица? – кричали убийцы.

Им отвечали, что царя не видали, а царица ушла в дом к отцу.

Грязные сцены разыгрались тут в царских покоях, и Марина слышала все это, знала, что тут делается, но не выдала себя до тех пор, пока не пришли главные заговорщики – бояре, и не поставили стражу около бывшей своей царицы и ее придворных дам.

И вот Марина опять у отца, только в Москве, а не в Самборе.

Дмитрия нет. Другой еще не явился. В Самборе мать Марины провозглашает, что он жив, и этот слух привез туда Молчанов; он и распространяет его по Польше и по России.

Но вот Дмитрий явился. Кто он такой – никто не знает. Не знает и Марина. Он уже в Орле. К нему идет князь Рожинский с 4,000 поляков. Рожинский посылает к нему послов и требует денег для войска.

У неведомого нового Дмитрия нет денег, и вот тут вспоминает о Марине.

– Сбежал я из Москвы от милой жены моей, от милых приятелей моих, ничего не захвативши.

Надо заметить, что, когда Марина только явилась в Москву, то Дмитрий спрашивал бояр, что они назначат царице в содержание на случай ее вдовства, и бояре назначили ей больше, чем Новгород и Псков, потому что признали ее наследственной государыней и еще до коронации присягнули ей в верности.

Когда на Москве совершилась катастрофа, польских послов Олесницкого и Гонсевского, не выпускали из города. Затем их и Марину отправили в Ярославль.

Время между тем шло. Более года с послами тянулись переговоры, и вот заключено с ними условие: Мнишек не признает зятем второго Дмитрия, которого называли «тушинским вором», потому что он стоял в Тушине, а чаще звали его «цариком», не выдает за него свой дочь, и Марина не называется московской государыней.

Условие это заключено было 25 июля 1608 года, когда Марина сидела уже в Ярославле, как в плену. Что она там делала – неизвестно; но, по договору с посланниками польскими, ее решились отпустить на родину.

Но Марину-царицу уже не тянуло на родину: она носила уже на голове корону: как же ей воротиться в свой скромный Самбор?

Царик узнал, что Марину отправляют в Польшу. Марина – царица нужна была ему больше войск и больше денег: с Мариной он был все, без Марины – он ничто.

А Марина? Она не знала, кто он, откуда, но она все еще верила, что это ее Дмитрий.

Но вот Марина выезжает из Ярославля, чтобы по договору, возвратиться на родину. Ее сопровождает тысячный конвой московских ратных людей. С ней отец, послы Олесницкий и Гонсевский.

Узнав об этом, царик разослал по городам приказ: «Литовских послов и литовских людей перенять и в Литву не пропускать; а где их поймают, тут для них тюрьмы поставить да посадить их в тюрьмы».

Мало того, царик послал Валавского с полком перехватить поляков и Марину – она ему была нужна. Но полякам, служившим у царика, не хотелось этого: они боялись, что Марина откажется от второго Дмитрия – он непохож на первого: это не тот, не он. Поэтому Валавский с умыслом не догнал Марины.

Тогда царик посылает в погоню Зборовского. Этот скоро нагоняет конвой Марины, потому что желал отличиться пред русским царем; он нагнал Марину уже под Белой, разбил конвоировавший ее московский отряд и остановил Марину, Мнишка и посла Олесницкого. Посол Гонсевский с другим отрядом ушел другой дорогой.

Но Марина не едет к этому второму Дмитрию в Тушино, боясь отдаться в руки неизвестному человеку. Страх и надежда боролись в ней, и потому она поехала в отряд Сапеги, чтобы оттуда вести переговоры с тем, кто выдавал себя за ее мужа. Мнишек же хотел, чтобы царик захватил их силой, и потому медлил в дороге.

И Зборовский действительно захватил Марину.

И вот Марина едет в Тушино, к неведомому человеку, который говорит, что он ее муж, ее Дмитрий, который в последний раз, утром 17 мая 1606 года, в тот страшный момент, закричал ей: «сердце мое, здрада!» Она слышала, что потом кого-то убили, называя Дмитрием, сожгли и даже пеплом его выстрелили на запад; но, быть может, это был не Дмитрий.

Подъезжая к Тушину, Марина была весела, смеялась и пела. Она ведь ехала к мужу, которого так давно не видала; она все еще верила, что он не убит: ведь все в ее жизни волшебный сон, чудо, чары – и ее Дмитрий, и корона московская на голове.

За 18 миль от стана к ее карете подъезжает молодой шляхтич, ее родственник, пан Стадницкий.

– Марина Юрьевна! – говорит он: – вы веселы, вы песенки распеваете; оно бы и следовало вам радоваться, если бы вы нашли в Тушине настоящего вашего мужа, но вы найдете совсем другого.

Это было страшным ударом для Марины: она уже боялась ехать к тому, кто назывался ее мужем.

Но делать было нечего: надо было признать его своим – для блага римской церкви. И она его признала.

Каково было их свиданье – об этом нет известий.

Царик дал отцу Марины запись, что, по завладении Москвой, он выдаст ему 300,000 рублей серебряных и Северское княжество с тамошними четырнадцатью городами.

5 сентября происходило тайное венчание Марины со вторым мужем в стане Сапеги. Венчавший ее духовник-иезуит убедил свой послушную дочь, что она должна это сделать для славы римской церкви, – и молодая женщина послушалась.

Скверно жилось Марине в тушинском стане. Проходили дни, месяцы, прошел год, а московская корона все еще была далеко. Многие бросили ее. Бросил и отец, не дал даже благословения. Марина часто писала к нему – она уже у покинувшего ее отца должна была искать помощи, покровительства у мужа. Марина все падала ниже и ниже. В одном письме она просит отца напомнить о ней мужу, напомнить о любви и уважении, которые он должен оказывать ей.

«О делах моих не знаю что писать, кроме того, что в них одно отлагательство со дня на день (пишет она в другом письме отцу): нет ни в чем исполнения. Со мной поступают так же, как и при вас, а не так, как было обещано при отъезде вашем. Я хотела отослать к вам своих людей, но им надобно дать денег на пищу, а денег у меня нет».

Но она не падает духом. В этой замечательной женщине еще не убита энергия, и она видит впереди одну цель – восстановление своих прав. Родина для нее уже навсегда закрыта, да она и сама не воротилась бы на родину: царица – она не явится в Самбор развенчанной, поруганной.

В одном письме к Стадницкому, своему родственнику, уведомлявшему ее, что король Сигизмунд вступил с войском в московские пределы, Марина говорит: «крепко надеюсь на Бога, защитника притесненных, что Он скоро объявит суд свой праведный над изменником и неприятелем нашим». Так она называла царя Василия Ивановича Шуйского.

Собственноручно же в этом письме Марина приписала: «Кого Бог осветит раз, тот будет всегда светел. Солнце не теряет своего блеска потому только, что его иногда черные облака заслоняют». Приписку эту Марина сделала затем, что Стадницкий в письме своем не назвал ее царицей.

Марина писала и королю. «Ни с кем счастье так не играло, как со мной (писала она королю): из шляхетского рода возвысило оно меня на престол московский и с престола ввергнуло в жестокое заключение. После этого, как бы желая потешить меня некоторой свободой, привело меня в такое состояние, которое хуже самого рабства, и я теперь нахожусь в таком положении, в каком, по моему достоинству, не могу жить спокойно. Если счастье лишило меня всего, то осталось при мне одно право мое на престол Московский, утвержденное моею коронацией, признанием меня истинной и законной наследницей, – признанием, скрепленным двойной присягой всех сословий и провинций московского государства».

Вот уже где почерпала она свои права и свой энергию: она царица не по мужу, кто бы он ни был, а по коронации, по двойной присяге. Убили ее мужа, но право ее живо: оно не убито, оно бессмертно.

К концу 1609 года дела Марины и ее мужа-царика становились все хуже и хуже. 27 декабря царик тайно бежал из своего стана, переряженный. Он выехал в навозных санях только со своим шутом Кошелевым, который никогда не покидал его! Царик скрыл свой побег даже от жены, потому что бежал от поляков, которые не слушались его, мучили все его войско. Но войско еще было за него.

Царик бежал в Калугу. Среди обширного, безобразного лагеря, среди массы палаток, землянок, шалашей, обозов, коновязей, наскоро сколоченных срубов, среди этого странного, шумного города, среди буйного войска, среди женщин, пленных и охотой нахлынувших к тушинцам, с которыми жилось весело, – Марина осталась одна в своих обширных деревянных хоромы, выстроенных ей и цариком еще в прошлом году.

Узнав о бегстве мужа, Марина, рыдающая, отчаянная, с распущенными волосами ходила по обширному табору, из палатки в палатку, умоляя ратных людей не повидать ее, не покидать ее мужа. И ратные люди готовы были положить свои головы за эту маленькую, плачущую женщину...

Из Калуги царик прислал письмо к Марине и к другим своим приверженцам, обещая воротиться к войску, если поляки вновь присягнут ему и казнят всех изменников, отложившихся от него. Но посла его, пана Казимирского, в таборе схватили, письма отобрали.

Марина не могла дольше выносить такой жизни. Дело ее не двигалось, а буйный табор пьянствовал, забывая о Марине, а иногда и обижая ее.

11-го февраля 1610 года она сама тайно бежала из табора. Переодевшись в гусарское платье, взяв с собой только одну служанку и несколько сотен донских казаков, Марина ушла из табора ночью, верхом, по-казацки.

Утром нашли оставленное ею письмо к войску:

«Я принуждена удалиться, избывая последней беды и поругания. Не пощажена была и добрая моя слава и достоинство, от Бога мне данное! В беседах равняли меня с бесчестными женщинами, глумились надо мной за бокалами! Не дай Бог, чтобы кто-нибудь вздумал много торговать и выдавать тому, кто на меня и на московское государство не имеет никакого права. Оставшись без родных, без приятелей, без подданных и без защиты, в скорби моей поручив себя Богу, должна я ехать поневоле к моему мужу. Свидетельствую Богом, что не отступлю от прав моих – как для защиты собственной славы и достоинства, потому что, будучи государыней народов, царицей московской, не могу сделаться снова польской шляхтянкой, снова быть подданной, – так и для блага того рыцарства, которое, любя доблесть и славу, помнит присягу».

Князь Рожинский писал королю, что Марина сбилась с дороги и попала в Дмитров к Сапеге; но Мархоцкий свидетельствовал, что ее переманил к себе Сапега для своих собственных выгод.

По уходе Марины войско заволновалось. В таборе не было нравственного центра тяготения.

И вот через месяц после бегства Марины тушинский табор распался. Войско разбеглось. Тушино опустело. Одни отряды присягнули Шуйскому, другие ушли в Калугу, к царю, третьи последовали за Мариной: она оставалась в Дмитрове с Сапегой.

Русские и шведские роты осадили Дмитров. В атаке польские отряды не выдержали натиска и, испуганные поражением части своего войска, не принимались за защиту укреплений. Положение было критическое, роковое для Марины.

Марина явилась сама к укреплениям и закричала к своим упавшим духом отрядам:

– Что вы делаете, негодяи? Я женщина, а не потеряла духа!

Но ничто не помогало. Шведы и русские одолевали. Тогда Марина собралась уходить в Калугу. Сапега не пускал ее. Она начала подозревать, что ее хотят выдать королю.

– Не будет того, чтобы ты мной торговал! – сказала она Сапеге: – у меня здесь донцы: если будешь меня останавливать – я дам тебе битву!

И она ушла в Калугу. В мужском платье, Марина ехала то верхом на лошади, по-казацки, то на санях.

Между тем на Москве, 17-го июля, царя Василия Ивановича Шуйского свергли с престола и силой постригли в монахи. Москва присягнула королевичу Владиславу, помимо Марины.

Но около. Марины и царика снова собралось войско. Из Калуги они двинулись к Москве и осадили ее. Поляки, от имени короля, предложили Марине и ее мужу мирные условия: король уступал им Самбор или Гродно, на выбор, лишь бы они отказались от Москвы.

Марину хотели заманить ее родиной, Самбором: ей, вместо московской царицы, предлагали сделаться царицей Самбора, ее родного пепелища.

Тогда Марина с раздражением сказала послам:

– Пусть король Сигизмунд отдаст царю Краков, и царь ему из милости уступит Варшаву!

Царик же на оскорбительное предложение Сигизмунда отвечал:

– Да лучше я буду служить у мужика и кусок хлеба добывать трудом, чем смотреть из рук его величества.

Положение царика и Марины под Москвой было нерешительное. Польские и литовские войска, по тайному уговору с москвичами, пробравшись тайно ночью через Москву, готовы были нечаянно напасть на стан осаждающих и захватить Марину с мужем; но из Москвы они были предупреждены своими приверженцами и, бросив осаду, ушли снова в Калугу. С ними ушел и знаменитый казацкий атаман Заруцкий, который полюбил Марину и готов был за нее погибнуть.

Прошло несколько месяцев, и Марина осталась снова одинока: она потеряла и второго мужа. Он погиб после 11-го декабря, в Калуге. Его убили татары, находившиеся в его войске, из мести за то, что царик утопил касимовского царя, тайно ему изменившего. Татары вызвали царика за город на охоту за зайцами, и там убили его. Весть о смерти царика привез в Калугу шут его Кошелев. Марина находилась в последней степени беременности. Услыхав о смерти мужа, она выбежала из города, в сопровождении нескольких бояр, и, сев в сани, отыскала в поле обезглавленное тело царика. Привезя его в Калугу, она ночью с факелом бегала по городу, в разодранном платье, с открытой грудью, с распущенными волосами, и громко молила всех о мщении. Преданные ей донцы погнались за убийцами, но те давно скрылись в степи. Оставшихся в городе татар, мурз и простых ратников перебили.

Положение Марины было безвыходное. Даже Заруцкий хотел ее оставить, хотя Калуга все еще оставалась верна своей царице.

Наконец, Марина родила. Новорожденного назвали Иваном, и Калуга тотчас же присягнула этому новому царевичу, не предвидя, что его ожидает виселица, когда ребенку исполнится четыре года.

Но скоро и Калуга отложила от новорожденного царевича и Марины, присягнув Владиславу.

В этом отчаянном положении Марина снова вспомнила о Сапеге и писала ему: «Ради Бога, спасите меня! Мне две недели не доведется жить на свете. Вы сильны – спасите меня, спасите, спасите! Бог вам заплатит за это».

Напрасно просила – Сапега не помог ей. Все от нее отшатнулись – остался ей верен один только Заруцкий: вместе они и погибли потом.

Но пока еще имя Заруцкого было страшно. Таким же страшным стало в это время имя Ляпунова, который, соединившись с Заруцким, Просовецким и князем Димитрием Тимофеевичем Трубецким, решил было провозгласить царем сына Марины, маленького Ивана. Но наступил 1612-й год, когда Русская земля, как сказочный Илья Муромец, выпивши, вместо ковша браги, целое море слез и крови, почуяла свой силушку и поднялась на ноги, как поднялся Илья-богатырь после ковша браги, поднесенного ему каликами-перехожими, то есть самозванцами, поляками и всем, что тогда шаталось по Русской земле.

Пятый год уже как Марина в России. Но вот, наконец, и в Польше вспоминают ее, всеми забытую панну из Самбора, московскую царицу. И вспоминает кто же? – все тот же отец, честолюбие которого и погубило дочь.

Вот по какому поводу вспомнили Марину в Польше. Гетман Жолкевский, подобно римскому герою Павлу Эмилию, вводил в Краков пленного, сверженного московского царя Василия Шуйского: маленький, седой старичок с больными глазами въезжал в Краков в откры-

той коляске, запряженной шестью лошадьми. Пленный царь был в меховой шапке и белой парчевой ферязи. С ним сидели оба его брата. Их ввели к королю. Перед лицом короля московский царь низко поклонился, дотронулся до земли рукой и поцеловал эту руку. Братья царя били челом в самую землю и плакали. Их допустили к королевской руке. «Было это зрелище великое, удивление и жалость возбуждающее», говорили поляки – современники. Но в толпе панов раздались голоса, что тут не место для жалости, а нужна месть за погибших братьев, за польскую кровь, пролитую в московской земле. Отец вспомнил о заглубленной им дочери: раздался голос старого Мнишка – он требовал мести за Марину.

Но голос его пропал даром – Марину забыла Польша.

В это же самое время и в России имя Марины становилось уже позорным общественным именем. В Нижнем поднималось земское ополчение с Мининым и Пожарским. В их грамотах, рассыпаемых повсюду, говорилось уже, между прочим, что многие покушаются, чтобы быть на московском государстве панье Маринке с законопреступным сыном ее, – и вожди земского ополчения требуют, чтобы не было этого.

Из Костромы и Ярославля новые грамоты против Маринки, против Ивашки Заруцкого, против «сына калужского вора, о котором и поминать непригоже». В грамотах клянутся Маринке и ее сыну не служить.

Марина находилась в это время в Коломне. Когда двинулось земское ополчение и зашевелилась Русская земля, Заруцкий с казаками отступал от Москвы, взял Марину и пошел в Рязанскую землю; погромив Коломну, взял Михайлов, после взял приступом Переяславль-рязанский, но там же и был потом разбит Бутурлиным. Дело Марины проигрывалось окончательно и навсегда. Она советовала Заруцкому броситься в Литву, но он пошел к южным окраинам Русской земли. К ним еще продолжала стекаться вольница и голытьба со всех сторон, а народ подавал еще челобитные на имя царя и его матери, «государыне царице и великой княгине Марье Юрьевне».

Шли они сначала по направлению к Лебедяни. Московские рати шли за ними. Заруцкий кинулся к Воронежу, оттуда перекинулся за Дон, на Медведицу, на Волгу, потом в Астрахань. Марина с ним – сынку ее уже четвертый год.

Там задумали они поднять на Русскую землю персидского шаха, Турцию. Шаху они предлагали отдать Астрахань, которой скоро овладели. Марина – царица Астрахани: она не велит звонить рано к заутрени, боясь, что от звону не будет спать ее ребенок, будущий царь московский и всея Руси...

Из Москвы идут к Заруцкому грамоты от нового царя и от всего освященного собора. Идут грамоты к астраханцам: астраханцев грамоты увещевают отстать «Маринкина злого душепагубного заводу и умышления». Казакам донским и волжским – «не верить злодейской прелести сен-домирского дочери, нарицаемой еретицы, польки-люторки Маринки».

И вот поднялась на Маринку и Астрахань. Марина опять бежит, а в руки астраханцев попадает только подруга Марины – Варвара Казановская. У Марины никого опять не остается, кроме Заруцкого. И бросились они на Каспийское море, скользнули на Яик, по Яику вверх; но вот на Медвеьем острове их настигают московские стрельцы: Марина, после бегства из Астрахани, была уже во власти разбойничьего атамана Трени-Уса. На руках у Трени был уже и ее ребенок, а Заруцкий не имел уже воли.

Стрельцы схватили Марину, ее сына и Заруцкого, и связали их. Трени бежал, и еще долго потом разбойничал.

6-го июля пленные привезены были в Астрахань, где еще так недавно Марина была царицей. 18-го июля их выслали в Казань. Около тысячи стрельцов служили конвоем коронованной некогда, а теперь скованной Марине.

В наказе конвою было накрепко изображено:

«Везти Марину с сыном и Ивашку Заруцкого с великим береженьем, скованных, и станом ставиться осторожно, чтобы на них воровские люди безвестно не пришли. А будет на них придут откуда воровские люди, а им будет они в силу, и Марину с в.....и Ивашка Заруцкого побить до смерти, чтобы их воры живых не отбили».

Из Казани скованная и конвоируемая сильным конвоем Марина доставлена в Москву, куда, давно когда-то, въезжала она так торжественно.

Заруцкого посадили на кол. Четырехлетнего сына Марины повесили. Марину же, говорят, тайно умертвили: по одним польским свидетельствам – она задушена, по другим – утоплена. Русские же, при размене с Польшей пленных, сообщали полякам, что «вора Ивашку Заруцкого и воруху Марину с сыном для обличенья их воровства привезли в Москву.... и Марина на Москве от болезни и от тоски по своей воле умерла».

В народе о Марине Мнишек осталась нехорошая память. Рассказывая о «Гришке-расстриге», как его убили на Москве, народ поясняет в своем предании:

А злая его жена Маринка безбожница,
Сорокой обернулася,
И из палат вон она вылетела.

V. Ксения Ивановна Романова. – Мария Хлопова

Смертью Марины Мнишек заканчивается цикл русских исторических женских личностей, выдвинутых на историческое поприще Смутным временем.

Но от этого времени остается одно лицо, которое, пережив страшную пору «лихолетья», переходит в другую эпоху государственной жизни Русской земли, когда, перестояв смутное время, она в себе самой нашла силы для своего спасенья и как бы обновилась для иной лучшей жизни.

Лицо это – Ксения Ивановна Романова, мать царя новой династии государей Русской земли, принявших эту землю под свое бережение в момент ее нравственного пробуждения.

О Ксении Ивановне Романовой, как и о многих, прежде нами упоминавшихся исторических женских личностях, можно сказать весьма немного, и то лишь по отношению их к другим историческим личностям и к общему ходу событий, в которых личности эти принимали самую незначительную долю участия,

Имя Ксении Ивановны появляется еще до Смутного времени. Как жена всеми любимого и уважаемого боярина Федора Никитича Романова, Ксения вместе со всем домом Романовых подвергалась со стороны Годунова опале, постигшей всех тех, которые стояли на дороге у этого честолюбивого человека, которых он подозревал в нерасположении к себе, или, наконец, которых он считал для себя опасными, вследствие обнаружения к ним любви народной.

Годунов видел любовь народа к Романовым, и этого достаточно было, чтобы взвести на них какое-либо преступление, измену, злоумышление против власти, чародейство. Романовых обвинили именно в чародействе, и, чтобы сделать их по возможности безопасными соперниками, разослали по монастырям.

Федор Никитич был пострижен под именем Филарета – имя, под которым он и прославился как в смутное время, так и во всей истории Русской земли, и заточен в Антониев-Сийский монастырь, а жена его Ксения Ивановна или Аксинья, как ее тогда называли, пострижена под именем Марфы и сослана в один из заонежских погостов.

С Ксенией находились маленькие дети, между которыми был и будущий царь Русской земли, Михаил Федорович.

Об этой тяжелой поре жизни Ксении Ивановны мы находим упоминание только в донесениях пристава Воейкова, который приставлен был недремлющим стражем к заточенному в монастыре Филарету Никитичу, и о каждом поступке, о каждом его слове обязан был доносить Годунову.

Так, в одном из своих донесений Воейков говорит, что старец Филарет особенно сильно тоскует, когда вспомнит о жене, и поэтому передает Годунову даже слова узника, которыми он выражал свой тоску по жене и детям.

Вот эти любопытные слова: «милые мои детки! маленькие бедные остались; кому их кормить и поить? так ли им будет теперь, как им при мне было? А жена моя бедная! жива ли уже? чай она туда завезена, куда и слух никакой не зайдет? Мне уж что надобно! Беда на меня жена да дети: как их вспомнишь, так точно рогатиной в сердце толкнет. Много они мне мешают: дай Господи слышать, чтоб их ранее Бог прибрал, я бы тому обрадовался. И жена, чай, тому рада, чтоб им Бог дал смерть, а мне бы уже не мешали, я бы стал промышлять одной своею душой; а братья уже все, дал Бог, на своих ногах».

Не знал узник, желая смерти жене и детям, что их впереди ждет такое высокое назначение, а одного – московская корона.

Настало потом смутное время, и много перемен принесло оно с собой на Русскую землю, а равно отразилось этими переменами и на участи людей; те, которые стояли наверху, упали очень низко; свергнутые прежде с высоты поднимались еще выше: одни погибли от царя Годунова, другие от Шуйского, третьи от поляков, а иные в битве со своими же собственными соотечественниками, когда, при нескольких самозванцах разом, началась в Русской земле «шатость»; а в этом нравственном шатании свои своих убивали, не щадя ни кровности, ни общности религий и происхождения.

Муж Ксении, или уже старицы Марфы, старец Филарет, является очень видным лицом в числе деятелей последнего акта смутной драмы «лихолетья». Но он снова в плену, в залоге у поляков.

Очнувшийся потом от нравственного кошмара самозванщины Русский народ выгоняет поляков и всех своих недругов из своей земли, и ищет себе царя.

Царя этого Русский народ находит в сыне Ксении Ивановны Романовой, старицы Марфы, которая уберегла и вскормила этого сына в страшную пору «лихолетья», воспитала его до 16-ти-летнего возраста и жила с ним в Ипатьевском монастыре, близ Костромы.

Вот здесь-то и является опять на исторический просвет старица Марфа, перед которой прошли все имена, события и деятели Смутного времени – и Годунов, и неведомый Димитрий-царевич, и Марина Мнишек, и Тушинский вор, и царь Шуйский, и королевич польский: она все это видела или обо всем этом слышала.

14-го марта в знаменитый 1612-й год к Ипатьевскому монастырю является торжественное посольство из Москвы – звать на царство сына старицы Марфы, юного Михаила Федоровича, в то время, когда отец его еще томился в польской неволе за Русскую землю.

В этот великий момент старица Марфа проявляет всю самостоятельность своего характера и глубокое понимание того, что произошло на Русской земле в то время, когда она в своем далеком уединении укрылась со своими детьми от ужасов всенародной шатости.

Выборные люди Русской земли явились к старице Марфе и ее сыну с иконами. Она и сын вышли навстречу этому великому посольству, как бы руководимому святыми иконами, и спросили: зачем они пришли к ним? Выборные люди объявили им волю и прошение всей Русской земли – быть юному Михаилу Федоровичу на царстве.

Ребенок-царь заплакал при этом известии, заплакал от огорчения и страха перед таким великим и страшным делом, как «промышление» над всей Русской землей, еще, по-видимому, не успокоившеюся от всеобщего потрясения. «С великим гневом и плачем» избран-

ный царь отвечал, что не хочет быть государем над Русской землею, а мать его, Марфа, объявила, что «не благословляет сына на этот великий подвиг».

Выборные люди явились в церковь. Там они подали свои выборные грамоты.

Старица Марфа сказала послам:

– У сына моего и в мыслях нет на таких великих преславных государствах быть государем, он не в совершенных летах, а московского государства всяких чинов люди но грехам измалодушествовались, – дав свои души прежним государям, не прямо служили.

Старица Марфа все им припомнила – их измену Годунову, самими же ими избранному на царство, и убийство того, которого они же признали за царевича Димитрия, и сведение с престола Шуйского, которому сами же целовали крест служить верой и правдой.

– Видя, – продолжала Марфа: – такие прежним государям клятвopеступления, позор, убийства и поругания, как быть на московском государстве и прирожденному государю государем? Да и потому еще нельзя: московское государство от польских и литовских людей и непостоянством русских людей разорилось до конца, прежние сокровища царские, из давних лет собранные, литовские люди вывезли; дворцовые села, черные волости, пригородки и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским и всяким служилым людям, и запустошены, и служилые люди бедны.

Сесть на московском престоле, говорила Ксения Ивановна далее, – это идти на явную «гибель». Она, наконец, напоминала выборным, что муж ее в Литве, в полону, что, узнав об избрании сына его на царство, король не пощадит старца Филарета в отмищение за свои неудачи в Русской земле.

Послы чувствуют и понимают всю резкость и правду слов старицы Марфы – и плачут, но продолжают неустанно молить ее благословить сына на царство: молили с третьего часу до девятого!

Ничто не помогало. Тогда они начали грозить Марфе гневом Божиим, наказанием за то, что она дает погибать Русской земле до конца.

Только тогда старица Марфа благословила сына на царство.

Затем старица Марфа снова отходит на второй план, хотя влиятельная рука ее виднеется из-за первоначальных распоряжений сына-царя.

Так, перед выездом в Москву, новоизбранный царь пишет московским боярам, чтобы приготовили для его помещения «золотую палату царицы Ирины с мастерскими палатами и сенями», а для матери, старицы Марфы, – «деревянные хоромы жены царя Шуйского». Бояре из Москвы отвечают, что для старицы Марфы приготовлены «хоромы в Вознесенском монастыре, где жила царица Марфа». Юный царь, конечно, не без руководства со стороны матери, отвечает на Москву: «В этих хоромах матери нашей жить не годится».

Но и тут является новое препятствие для въезда царя с матерью в Москву: находясь еще у Троицы, по дороге к Москве, старица Марфа и царь говорят боярам и плачут, что на Русской земле воров еще много, что в государстве все еще царствует неладица, тогда как бояре и выборные люди, призывавшие Михаила на царство, говорили, что земля-де Русская успокоилась, от своей шатости отстала, что в Русской земле воров и изменников более не осталось. В виду всех этих неурядиц в государстве, царь и мать его не решаются ехать к Москве.

Их успокоили, и 2-го мая 1612-го года совершился торжественный въезд в Москву царя Михаила Федоровича и матери его Ксении Ивановны, старицы Марфы.

С этой поры присутствие старицы Марфы опять становится незаметным. Из литовского полона возвращается ее муж Филарет Никитич и возводится в высокий сан патриарха Русской земли. Отец и сын вместе правят Русскую землю, и о старице Марфе нет уже упоминаний.

Правда, сильное влияние ее выступает наружу еще один раз – по вопросу о женитьбе сына царя на девице Марье Хлоповой; но об этом мы скажем в своем месте.

Неразрывно с именем Ксении Ивановны Романовой, или старицы Марфы, должно быть поставлено имя боярышни Марьи Ивановны Хлоповой, судьба которой решилась совершенно не так, как желала и надеялась эта молодая девушка, потому только, что Ксения Ивановна в деле Хлоповой приняла решение не в пользу этой девушки.

В 1616-м году, когда юному царю Михаилу Федоровичу было уже около двадцати лет, отец его, Филарет Никитич, заботясь об упрочении престола за своим родом, задумал женить сына, и с этой целью, по примеру Ивана Васильевича Грозного, воспитавшего для своего сына, Федора, невесту с малолетства, взяв для этого во дворец семилетнюю Ирину Годунову, – решился взять ко двору молоденькую девицу, боярышню Марью Ивановну Хлопову.

Боярышню Хлопову, по обычаю того времени, во дворце из Марьи переименовали в Настасью, вероятно, в честь бабки, знаменитой Анастасии Романовны Захарьиной-Кошкиной, первой супруги царя Ивана Васильевича Грозного, и стали называть царевной.

Вдруг царю доносят, что невеста его, боярышня Марья, или царевна Настасья, опасно и неизлечимо больна. Болезнь эта проявилась тем, что боярышню-царевну однажды рвало.

Не расследовав дела, несчастную царевну-невесту тотчас же, вместе с родными ее, ссылают в Тобольск, конечно, за то, зачем они не предупредили, что боярышня больна и недостойна быть царской невестой.

Филарет Никитич, по-видимому, подозревал, что тут кроется интрига, и потому понемногу начал смягчать суровость ссылки Хлоповой и ее родных, из Тобольска, в 1619-м году, приблизив их в Верхотурье, а в 20-м году передвинув еще ближе – в Нижний.

Но между тем молодой царь оставался без невесты, и Филарет задумал женить его на иностранной принцессе.

С этой целью тогда же, в 1621-м году, отправлено было в Данию, к королю Христиану, посольство, состоявшее из князя Алексея Михайловича Львова и дьяка Шипова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.